

ВРЕМЯ ШЛМБТ 84 1985

ПОЛЬША: ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ



ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Одиннадцатый год издания

**Выходит один раз
в два месяца**

84
1985

НЬЮ-ЙОРК—ИЕРУСАЛИМ—ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1985

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН	ДОРА ШТУРМАН (зам.гл.редактора)
АСЯ КУНИК (отв.секретарь)	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ИЛЬЯ ЛЕВКОВ	ЕФИМ ЭТКИНД
ЛЕВ НАВРОЗОВ	

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала
в Западном Берлине
Juscwa Mischijew
Amsterdamerstr. 14
1000 Berlin 65

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Зиновий ЗИНИК
Руссофобка и фунгофил. 5
Феликс РОЗИНЕР
Попутчики. 80

ПОЭЗИЯ

Ирина ГРИВНИНА
Город на слом. 92

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА

Виктор ПЕРЕЛЬМАН
О теле и духе, или о нашей эмиграции 115
Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА
Гамлетовы сомнения Кремля: что делать с Польшей . . . 124
Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ
Духовная драма сионизма. 153

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Серафим МИЛОРАДОВИЧ
Вслух о делах издательских. 166

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Михаил ОСОРГИН
Мемуары изгнанника. 178

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Жозе ПЬЕР
Эти прекрасные нью-йоркские ведьмы. 236



Зиновий ЗИНИК

РУССОФОБКА И ФУНГОФИЛ

Клио захлопнула за собой дверь спальни и прижалась к ней спиной, как будто защищаясь от Марги. Потом, на цыпочках, стараясь не скрипеть, спустилась на несколько ступенек вниз и перегнулась через перила. В проеме кухонной двери внизу, как будто вставленный в картинную раму, склонился над столом Костя. А может быть, не над столом, а над трупом храпавшего Антони под столом. Нет, все-таки над столом: рядом с плетеной корзиной на столе была разложена географическая карта. Лицо Константина со сжатыми челюстями, поросшими за день рыжеватой щетиной, застыло в той маске бессмысленной сосредоточенности, с какой люди глядят в последний раз на родной дом перед дальней дорогой, пытаются вспомнить, что они забыли взять с собой: любовь и ненависть близких, или моток ниток с английской булавкой? Электрическая лампочка высвечивала потрепанную фетровую шляпу у него на голове и непромокаемый плащ, перетяну-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ISSN 0737-7061

Окончание. Начало см. № 82-83.

тый военным кожаным ремнем — в этом барахле он появился на Британских островах из Москвы.

Во всем его облике было нечто уникально советское, но его огромная тень на стене не учитывала советских бирок на одежде, и поэтому тенью он был похож на дореволюционного странника. Он был готов уйти из этого мира, с плетеной кошелкой в руках. "Как Лев Толстой, — подумала Клио. — Как Лев Толстой в лаптях". Костя, правда, был не в лаптях, а в резиновых сапогах. Лев Толстой был пацифистом, а Костю так же трудно было назвать толстовцем, как и вегетарианцем.

И все равно жалко было смотреть на существо, решившееся на уход из мира. Даже если это существо — чудовище. Она хотела его окликнуть, когда Костя, как будто очнувшись от столбняка, шевельнулся и, свернув карту, стал деловито рыться в карманах. Через мгновение Клио заметила у него в руках нож. Привычным четким движением он раскрыл лезвие, покачал нож в руке и потом опробовал его ногтем большого пальца на остроту. Вчитываясь из полумрака лестницы в Костин профиль, Клио усмотрела в нем роковой скептицизм самоубийцы, глядящего на дуло пистолета. Его огромная неуклюжая фигура в нелепом дождевом плаще стала в это мгновение символом прощания со здешним миром, нанесшим ему столько мучительных оскорблений; существо уходило, чтобы тайком покончить с собой, как кошка, которая, умирая, ищет потайное место, чтобы сдохнуть незаметно для человеческих глаз. Как чудовище, отвергнутое и проклятое людьми. И Клио готова была броситься сломя голову вниз по лестнице и отвести на себя этот роковой удар ножа: это не он, а она заслужила своим уродством и чудовищной бессердечностью подобный уход из мира. В этот момент Костя скептически покачал головой, дотянулся, не глядя, до полки и в руках у него очутился кремневый круг — точильный камень.

Развернувшись поудобнее на табуретке, Костя пристроил точильный камень у себя на колене, задумчиво что-то пробурчал, взмахнул в воздухе рукой с ножом и широким ритмичным движением, взад и вперед — чирк-чирк — стал затачи-

вать лезвие. Губы его сжались, на лбу заиграла вздутая жилка, и выражение прощального трагизма на лице уступило место мстительной решимости. И всеми своими повадками, в фетровой съеденной молью шляпе и замызганном плаще, он уже напоминал ей не Толстого, а отвратительного старика-еврея Гиндина с мешком мертвых младенцев на замерзших улицах Москвы. Сколько было младенцев согласно газете "Правда"? Три. На суде фигурировали только два. А куда делся третий? Съели. Сам, наверное, старик Гиндин и съел. Старый голодный еврей в ермолке. Бедный. Его можно только пожалеть, это чудовище. Как Шейлока. Бедный Шейлок, еврей в ермолке. Тоже чудовище. Его все дразнили, унижали его, дочь отняли, дочь его народа. Он имел право на высший суд. Он имел право отрезать от своего врага полпуда живой плоти по законам "зуб за зуб, ребро за ребро". У него отняли дочь — его плоть и кровь. Ему разбили сердце, у него отняли душу, он имел право на полпуда плоти. Зажарить и съесть. Людоедство плотское за людоедство душевное: людоеды-евреи посланы в христианский мир, чтобы показать нам, чем мы занимаемся. Друг друга поедом едим. Зажариваем живьем напалмом, протыкаем радиоактивными лучами с атомным грибом на закуску. Может быть, Костя и есть еврей? В этом Советском Союзе не поймешь, кто есть кто: на Западе их всех гуртом называют русскими, а на самом деле он, может, из Узбекской республики? Товарищ Шейлок Гиндин. Слишком уж по-шейлоковски он был спокоен, делая вид, что смирился со своим положением, а сам затачивал зубы на разных сортах мяса, как сейчас точит свой нож о камень: чирк-чирк, чирк-чирк! Может быть, он не только за евреев мстит, а за все национальные республики. За весь Советский Союз, за страну Советов, за первое в мире пролетарское государство, над которым издевалась вся Европа, пыталась задушить, уморить голодом, заткнуть глотку золотом, засунуть живьем, связанную по рукам и ногам путами финансовых обязательств, в долговой мешок. И вот сейчас, советский Шейлок точит нож, чтобы взять свое, полпуда живой плоти Европы. Ее Европы. Она, Клио, и есть Европа в его глазах. В глазах Советского Союза.

Клио вцепилась в перила лестницы, качнувшись от застывшего в висках страха. Лестница скрипнула, и чудовище, перестав чиркать ножом о точильный камень, прислушалось. Затем Константин поднялся, сложил нож, удовлетворенно опробовав его снова на остроту пальцем, и похлопал себя по карманам. Потом ожесточенно почесал щетину и, развернувшись, стал подниматься по лестнице. Клио в панике рванулась было обратно в спальню, но потом вспомнила про Маргу и замешкалась: она представила себе ее презрительное лицо, издевательскую улыбку, улыбку оказавшейся во всем правой. Эта улыбка — острее, чем Костин нож. Рискуя столкнуться с кровожадным Костей, она ринулась вниз по лестнице и прошмыгнула в гостиную прямо перед его носом. Заперевшись на задвижку, она стала с грохотом придвигать к двери диван-кровать. Потом, забравшись на диван с ногами, прикинула к замочной скважине и тут же отшатнулась: в черную дырку скважины на нее ответно пялился голубой зрачок, холодный зрачок чудовища — Константина. Она прислушалась к его сопению за дверью. Потом его глухой, с хрипотцой голос пробурчал: "Совсем сбрендил, идиотка!" Не такая уж она идиотка, чтобы открывать ему дверь.

Чудовище за дверью подергало ручку и грязно выругалось. Потом послышался топот ног по лестницам дома и неразборчивый шепот. Потом наглое хихиканье. Это смеялась Марга своим густым, не знающим стыда гоготком. Смеялась над Клио, над кем еще? Ее, как всегда, веселила собственная правота. Потом из кухни напротив послышались ее ругательства, звук пощечины, истеричный и невразумительный тенорок Антони. Потом грохот падающего тела: он, видимо, не до конца очухался — или же эта примадонна, которая запанибрата со всеми — от троцкистов до людоедов, — вместе с Константином избавляются от ненужного свидетеля, чтобы затем вдвоем взяться за Клио?

Но хлопнувшая через минуту входная дверь и урчанье автомобильного мотора за окном говорили о том, что английская парочка, умыв руки, отбывала. Клио узнала ровное рычанье их "Ягуара" (купленного, конечно же, по случаю,

конечно же, из вторых рук, но сколько бы Марга с Антони ни принижали шикарность их машины, обшарпанный и чихающий каждую милю "Форд" Клио выглядел рядом так же, как старый шелудивый пес рядом с породистой гончей, а машины ведь живут не дольше, чем собаки).

Эта нелепая завистливая мысль о "Ягуаре" лишь усугубляла в глазах Клио предательство Марги: "лучшие друзья" уезжали кататься, оставив ее подыхать на обочине, как раздавленную собаку. Потом будут сообщения в газетах о семейном скандале, закончившемся перерезанным горлом супруги, и Марга будет пересказывать интимные подробности случившегося с ее обычной маркиз-дет-садовской экзальтацией.

Вместе с перезвоном оконных стекол от умчавшейся с урчанием машины в дом вернулись шаги Константина. Присутствие ожесточившегося страха заставил Клио подняться с дивана и с новым усилием взяться за баррикадирование двери. Она бросилась в другой конец комнаты и стала, пытаясь, двигать к двери тяжелую лакированную горку, в попытках она забыла снять с горки стеклянный графин с портвейном — одну из регалий домашнего уюта — и в очередном рывке графин слетел с горки, и по новому ковру разлилась лужа густой сладковатой жидкости.

Инстинкт домохозяйки оказался сильнее страха и, забыв про зловещие шорохи шагов за дверью, Клио полезла в горку, достала праздничную обеденную солонку и стала густо посыпать лужу портвейна солью. Багровая жидкость стала проступать сквозь соль, как кровь на грязном снегу, свертываясь по краям пожухлой сохшейся пленкой.

При виде тошнотворного пятна на ковре Клио мутило, колени у нее подогнулись и, опустившись на пол, она заплакала. Даже не заплакала, а захныкала: от осознания полной бесполезности всех попыток защитить свою жалкую жизнь перед этим монстром, топающим в грязных сапогах по ее дому с ножом в руках. Надо было раньше думать. Неужели она раньше не могла догадаться, кого приняла под свой кров? Скоро от нее останется такое же вот отвратитель-

ное пятно на ковре, которое, как известно, солью не выведешь. Совершенно ясно, что сопротивляться бесполезно.

Она сама забаррикадировала себя в этих четырех английских стенах, дожидаясь, когда это русское чудовище придет и перережет ей глотку. И бесполезно его задабривать. В отличие от провокационной версии их отношений, изложенных Маргой, у нее нет даже шанса превратиться в жабу — разве Константин даст себя поцеловать? Он просто зарежет ее и сварит из нее суп себе на дорогу, чтобы подкрепиться перед отбытием на свою русскую родину людоедов. И для него Клио уже давно лягушка: квакает, квак-квак, как все англичане, не говорят, а квакают. Он, впрочем, и лягушкой не побрезговал бы, с его луженым желудком. Квакай потом у него в пузе. Никто не узнает, что вот жила себе англичаночка, плохо ли бедно, униженно или оскорбленно, жила ни от кого не завися и думала, что хотела, и вдруг оказалась в российском пузе, в бурчащем, всегда голодном и озлобленном пузе России. Мысли у нее мешались. Даже если бы ей удалось выбраться из этой тюрьмы, куда она сама себя засадила, скажем, через окно — ведь на окне нет решетки — у кого просить защиты? и как? Что она сообщила бы полиции? Что она превратилась в жабу и из нее хотят сделать суп? Что ее муж людоед и собирается бежать в СССР? Почему в СССР? — заведомо спросит английский бобби — в Африке тоже людоеды, почему вы уверены в том, что он убежит в СССР со своими антисоветскими взглядами? А она привстанет перед полицейским на цыпочки, на свои лягушачьи лапки и скажет: ква-ква!

И тут она вспомнила про пана Тадеуша. Может, потому, что лицо этого пана, этого панка с длинным красненьким носом и закрученными вверх усами, напомнило ей таракана, или даже изголодавшуюся водяную крысу, короче — родственника лягушек. Вначале она решительно отвергла в уме его кандидатуру, поскольку он был очевидным Костиным сообщником. С отвращением и страхом она вспоминала верткую фигурку поляка, прошмыгивающего в кухню, Костину вотчину, старающегося избежать столкновения с ней, хозяйкой дома. А когда они все-таки сталкивались, его угодливое "экс-

кюзе муа", почему-то по-французски, с непременным польским "дрожайшая панове Клеопатра", он всегда называл ее полным, ненавистным ей именем. И потом далеко за полночь доносящиеся из кухни шепот, скандальный ропот своры, переходивший в матерную ругань, гиканье и хохот, и снова в шепот. И снова угодливое: "Гуд бай, панове Клеопатра", если она не выдерживала и спускалась вниз прямо в ночной рубашке, чтобы прекратить это полуночное безобразие. Теперь она понимала, что это была не просто пьяная сходка, а заговор. Точнее, совещание на верхах. Между представителями самостоятельной Польши и великодержавной коммунистической России. Между народной демократией и советским социализмом. Впрочем, разница лишь поверхностная, потому что все они из Восточной Европы в одном Советском Союзе наращивают число ядерных боеголовок, нацеленных на страны Западной Европы. Нацеливают на ее, Клио, зеленую лужайку. Наивные леваки, вроде Антони, могут сколько угодно твердить про какое-то инакомыслие и раскол в странах восточного блока, про югославский эксперимент и румынское заигрывание с западным капиталом, но она, Клио, в настоящий момент была совершенно согласна с английскими парламентариями правого крыла, рейганистами из тэтчеристов: бешеный пес коммунизма вне зависимости от идеологических нюансов и национальной принадлежности, мечтает лишь о том, чтобы перегрызть глотку западной демократии, и удержать его можно лишь угрозой ядерного шприца-лазера с вакциной антибольшевицкой пропаганды.

Но бешеный пес уже на пороге, тут, сейчас, за дверью, и в руках у нее нет никакого ядерного шприца, кроме пустого графина из-под английского портвейна. И пышущая бесильной злобой антисоветская риторика ей не поможет. Согласна или не согласна она с рейганистами из лагеря тэтчеристов, а чтобы выжить, надо отыскать союзника в лагере врага. Пусть ненадежного и малоприятного, морально подозрительного и сомнительной репутации, вроде пана Тадеуша, но союзника придется отыскать, соблазнить любыми обещаниями и посулами. В конце концов, есть же подпольная "Со-

лидарность"! Впрочем, эти профсоюзники, подпольные или официальные, по натуре — большевики, и спор у них лишь о том, кому и как распорядиться в этом заговоре против свободы. Правда, эти самые подпольные "солидарники" — поголовно католики: разве можно себе представить советских профсоюзников, встающих на колени в католической молитве — в едином жесте на площади, — перед тем, как выступить с забастовкой? Или, даже, взять, скажем, Ярузельского: генерал — а черные очки! Разве можно себе представить такие киношные очки на носу, скажем, у Брежнева? Или даже у Андропова — а тот ведь, по слухам, говорил по-английски! Нет, придется согласиться с тем, что Польша — особый случай. В Польше крайне сильны антирусские настроения, еще со времен царского правительства, недаром Достоевский не любил поляков. И этим надо воспользоваться. Может быть, пан Тадеуш — вовсе не сатрап коммунистической державы Константина, может быть, он тайный союзник Запада и только ждет от нее, Клио, знака, чтобы выступить единым фронтом против советской "гегемонии", как говорят китайцы. Так или иначе, у Клио нет другого выбора. Или открыть в сатрапе союзника или погибнуть в одиночку под лапой чудовища, топящего за дверью. Недолго думая, Клио открыла окно и мелкими перебежками, через лужайку, потом к забору, через забор, по палисаднику стала пробираться к дому пана Тадеуша.

"Мон дье, панове Клеопатра! Какой сюрприз!" — бормотал спросонья пан Тадеуш, представший перед Клио в пижаме, с сеточкой на голове — для поддержания лысеющего пробора в течение ночи. Ему снилось польское восстание 1863 года: шляхтичи стреляли из дуэльных пистолетов по гайдукам, со скрежетом звенели струны фортепьяно, рассеченные казачьей шашкой, и под искалеченный вальс Шопена на белом коне топтал траву палач польского народа генерал Суворов с лицом лондонского соседа Константина и кричал, взнуздывая лошадь и размахивал нагайкой: "Топчи грибы, мой конек удалой! Передай дорогой: ни одного гриба полякам не оставил и смело погиб за рабочих!" Весь этот ностальгический бред был делом рук Клио: она металась от окна к двери

пана Тадеуша, колотя дверным молотком и дребезжа оконными стеклами, поминутно оглядываясь — не крадется ли за кустом чудовище Константин, чтобы прикончить ее, полоснув ножом по горлу, чтобы потом, сопя, притащить ее к себе на кухню и бросить в кипящую кастрюлю. Все это она пыталась объяснить пану Тадеушу: про еврея-людоеда Гиндина и католицизм польских рабочих, про чирканье Костиного ножа о точильный камень и очки генерала Ярузельского. "Милочка панове Клеопатра! -- беспомощно разводил руками пан Тадеуш, — войдите в мое положение", — и предлагал войти в дом и успокоиться. Но Клио успокаиваться не желала: она тащила пана Тадеуша за рукав пижамы, агитируя его выйти на последний и решительный бой с чудовищем-оборотнем. "Им движет безжалостная месть, — стараясь звучать как можно логичней, говорила Клио. — Сегодня мы, а завтра его жертвой станет вся западная цивилизация". И как будто в доказательство ее слов на другой стороне улицы показался Константин в сапогах, в плаще и с корзиной в руках. Он открыл дверь машины и стал засовывать огромную корзину на заднее сиденье. "Видите, видите?" — залепетала Клио, цепляясь за халат Тадеуша.

"Большая корзина", как будто про себя отметил вслух пан Тадеуш: от его взора не ускользнули ни Костины резиновые сапоги, ни дождевик. У пана Тадеуша были свои недвусмысленные и не имеющие отношения к политике соображения насчет того, куда отправляется Костя. "Пожалуй, вы правы, панове, — кивнул он Клио. — Маршруты этого русака имеет смысл проследить".

В мгновение напялив резиновые сапоги прямо поверх пижамных штанов и прихватив синтетическую непромокаемую куртку, пан Тадеуш уже усаживал Клио в свой старенький пикап. На заднем сиденье Клио заметила большую плетеную корзину, похожую на Костину. Впрочем, там валялись еще и пустые картонные коробки, обычный хлам в машине владельца продуктовой лавки.

* * *

Константин не свернул вниз по переулку на главную улицу, как ожидала Клио. Он не свернул туда, где отсыревшая после ночного августовского ливня дымилась туманами и испарениями огромная и безлюдная клоака города, как груда серого вымокшего тряпья, морщилась складками грязной рабочей спецовки Бога, которому опостылел бездарный и кропотливый труд по благоустройству человечества, и он скинул эту вонючую робу цивилизации и отправился на небо, вымывшись предварительно под душем проливного дождя и хлопнув напоследок дверью в виде отдаленного раската грома. Как сточные трубы, уходили вниз с высокого северного холма придавленные крышкой неба однообразные улицы с канализационным светом фонарей, высвечивавших желтоватым светом вереницы двухэтажных домов, склеенных боками друг с другом, где каждая дверь с почтовой щелью и дверным молотком была вычерчена с незатейливой простотой — как матерное ругательство на унылой стене подземки. Эти гигантские и опустевшие, как будто навечно предоставленные в распоряжение крыс сточные каналы, канавы, туннели уходили вниз, устремлялись вместе с уринальным журчанием дождевых потоков туда, где под безумным по запутанности и уродливости ворохом стен, мостов и подземных переходов шевелились ночные вахтеры и дежурные этого города: махнувшие на все рукой неудачники, ночующие за грудой коробок под мостами у решеток метро; кондукторы ночных автобусов и проститутки, объединенные в бессонный профсоюз постылостью посменной службы и вместе сторонящиеся шумных ватаг панков, то есть погани и шпаны с бритыми головами заключенных и с гремящими цепями, потерянными в толкучке прогресса пролетариатом и свисающими теперь со всех непотребных мест — от ширинки до ушей; звон цепей и мата панков перемежался изредка рокотом ролс-ройсов и черных карет таксомотора, вылавливающих у ночных клубов и редких с зашторенными витринами полуночных ресторанов шикарные пары в тройках и смокингах в облаке духов и сигарного дыма с соболиными хвостами не по погоде, а

по моде; короче — весь тот мир привидений и призраков, уродливых исключений из правила и выпадений из того миропорядка, в согласии с которым рядовой гражданин города Лондона должен делать вид в такие часы, что он уже умер или, по крайней мере, обязан спать мертвецким сном. Лондонская народная демократия умирает с закрытием пивных, пивные же закрываются по самоубийственному распоряжению демократического парламента в одиннадцать часов ровно. Те же, кто осмеливается выходить на улицу, делая вид, что он еще жив и после одиннадцати вечера, должны довольствоваться встречей с Джеком-потрошителем или Костей-людоедом.

Так относилась Клио к своему родному городу. Но Костя не повернул, однако, вниз, к кровавому, как разбитый светофор, зареву над клоакой городского центра, а развернул руль вверх по холму, слившемуся краем с ключьями дождевых облаков, висящих, как выжатое белье после грандиозной стирки, над крышами домов. У него, правда, были свои, не столь рациональные основания ненавидеть этот город: эти заставленные домами, как платяными шкапами, коридоры улиц; этот затемненный, как перед бомбежкой, объединенный в один город лишь общим названием, круговерт хуторов с неизменной, как полагается в деревне, главной улицей, с горящими в бессмысленном ночном бдении вывесками одного и того же набора: прачечная, банк, забегаловка с чипсовой рыбой и ипподромная контора "Мекка". При всей блистательности неоновых вывесок, сами заведения были закрыты. Но Костю подавляла не мертвенность ночного города как таковая.

"Этот город давно пора перепахать под картофельное поле!" — зло подумал Константин, жмя на газ и проносясь по безлюдным улицам все дальше и дальше в северном направлении, прочь от этих убогих домишек и ущербных садиков, сквериков и газончиков, которые при дневном свете тужились подражать деревенской идиллии. Но сейчас, в мелькающей тьме, они становились тем, чем они были в действительности: не травяным покровом, а дешевым тряпьем, выкрашенным неразборчивой природой в густо-зеленую краску,

облезлую в тех местах, где пробивался кирпич, асфальт, штукатурка, улица, фонарь, аптека, улица, фонарь. Это было жалкое подражание, дешевая имитация, фальшивые декорации, а не сама природа. Смехотворная претензия англичан воображать себя на природе посреди гигантского дымного и закопченного развала лондонских трущоб — вот что бесило Константина. Всю жизнь с детства промучившийся в коммуналах, затурканный и затырканный советскими учреждениями и душными профсоюзными митингами, он, как и многие из его поколения советских мечтателей и макабрических фантастов, лелеял в себе идею сакраментальности природы — всех этих стоеросовых берез и куриной слепоты, топких болот, чистых омутов и мутной воды, где можно ловить рыбу голыми руками, кровавой клюквы и жирной почвы, которую неспособны до конца искрошить ни топор пятилетнего плана, ни сапог исправительно-трудовых лагерей. Природа была доказательством того, что даже самая непобедимая на свете идея — учение коммунизма — и та способна застрять в болоте и заблудиться в трех соснах, согнуть без следа в омуте. И не столько он любил природу, сколько ненавидел благоустроенную цивилизацию придурков, религиозных фанатиков прогресса, не понимавших, что главное в человеке — это желудок, кожа и кости, побратавшиеся с природой своим составом, близостью к праху и перегною, откуда возникают и куда окончательно уходят все эти бредовые утопические идеи, утопические в том смысле, что "после меня хоть потоп". Прогрессивные идеи, пропагандисты которых воображают себя центром вселенной и саму вселенную — делом рук своих, стоящие на охране своего мира, как чучело в огороде, которое воображает, что, кроме ворон, других врагов на свете нет. Константина раздражала самонадеянность этих остроумцев, поверивших, что они могут прожить исключительно делом рук своих. Его раздражала лондонская цивилизация, потому что даже трава и деревья тут — дело рук человека. Константин же людей, а тем более их идей не любил. Прочь от цивилизации неся Константин, оседлав самое совершенное изобретение цивилизации — колесо автомобиля.

Но автомобиль был для него лишь переходным периодом от цивилизации к природе, от города к лесу. Этим извинял Константин жадность и хваткость собственных рук, с безупречной лихостью крутивших руль, pedalную уверенность ног, жавших на газ — прочь от этих хуторов прогресса и гуманизма, навстречу лесному варварству. Втайне он обожал до сердечной дрожи эту власть над автомобильным рулем, ту прелесть силы, с которой послушное и мощное колесо вжималось в асфальтированную почву и подминало природные корни с той сдержанной страстью, с какой, скажем, революционеры готовы перестрелять и перевешать во имя человеколюбия добрую половину человечества. Он, короче говоря, пристрастился к переходному периоду на пути от цивилизации к природе в той же степени, в какой был одержим самой идеей слияния с природой, и уже неясно было, что его больше завораживало: сама природа или гонка по направлению к ней за счет цивилизации. Он жал на педали и весь был устремлен как внутренним, так и внешним взором, лишь вперед — сквозь ночную тьму шоссе в тьму лесной чащобы на горизонте.

Ему и в голову не пришло оглядываться назад, где в туманных метрах от него вцепилась с неменьшим фанатизмом в баранку руля Клио. Рядом с ней, нервно крутя ус и поглядывая то на шоссе, то на заострившееся лицо Клио, сидел пан Тадеуш: шоссе было влажным после дождя, а Клио не жалела ни коробки скоростей, ни тормозной колодки, и Тадеуш, с каждым дерганьем старенького пикапа, с каждым рыком измученного мотора, болезненно вздрагивал, опасаясь не только за свою жизнь, но и за судьбу своего четырехколесного друга, без которого продуктовая лавка давно бы обанкротилась. Однако Клио решительно отказалась занять место пассажира и предоставить руль хозяину пикапа: гонку за Костей-людоедом и возможным убийцей она решила целиком и полностью взять в свои руки. Впрочем, пана Тадеуша вполне устраивала роль постороннего наблюдателя: который месяц он безуспешно пытался проследить маршруты тайных вылазок этого мистического кулинара, этого русского, этого беспощадного шовиниста в собирании грибов. Кто бы мог по-

думать, что разгадка этих засекреченных маршрутов произойдет при таких скандальных обстоятельствах. Впрочем, как поляк он твердо знал, что польский народ может отвоевать льготы у старшего брата лишь в случае очередной политической заварушки. И подобная заварушка была налицо. С припухшими от прерванного сна веками, Тадеуш внимательно наматывал на ус все повороты на пути к заветной делянке.

Каждый из трех — Константин впереди, Клио позади и Тадеуш сбоку — был настолько погружен в собственные идеи, конечные цели и средства их достижения, что никто из этой кавалькады одержимых не заметил у себя за спиной еще одного седока, повторяющего и даже старающегося предугадать все повороты руля и движения души тройки впереди. Никто из этой тройки не заметил, как на первом же повороте, ведущем к главной улице, к ночной кавалькаде, устремившейся на север, присоединился еще и тархтящий, чихающий, обшарпанный мотоцикл: слишком много молодых людей гоняют по ночам на этих дребезжащих рокочущих адских машинах, не давая спать тем, кто спит без снов, не подозревая о существовании других, кому снятся сны наяву. Один за другим, не ведая при этом, что творится у них за спиной, каждый из участников кавалькады свернули с главного шоссе на извилистую проселочную ленточку. Вокруг замелькали ночные призраки лесонасаждений.

9. НОЖ ЗА ГОЛЕНИЩЕМ

Медленно перевалив через неглубокую обочину (сбив при этом какое-то фанерное предостережение на басурманском языке) и прохрустев колесами по мелкому жесткому кустарнику, Константин выключил наконец мотор и вылез из машины. Достал из багажника корзину на ремне, перекинул ее через плечо, подтянул сапоги и, освещая путь карманным фонариком, шагнул через ржавую колючую проволоку, оставшуюся здесь, видно, еще со времен второй мировой. Он чертыхнулся, зацепившись было за нее штаниной, но не злобно,

поскольку этой ржавой проволокой отмечен был в его сознании рубеж, за которым кончалась западная и всякая другая цивилизация. И он шагнул, почти наугад, без компаса, по нюху узнавая верное направление, сквозь чащобу к заранее намеченной полянке. О проволоке и вообще заграждениях он тут же забыл: лес встречал его своей ничейностью. С каждым шагом он все дальше уходил от семейных склок за спиной и общественных претензий на справедливость; именно поэтому он принял блеснувший позади фонарик пана Тадеуша за мерцание светляков, а случайный хруст валежника под каблуком Клио за прыжок перепуганной белки или недремлющего филина. Лес был территорией, где кончались все права на идеологическую верность: тут не было ни левых, ни правых и — при отсутствии компаса в кармане — ни востока, ни запада. Он уходил от причин и следствий, от перемены места и языка, он уходил от России в той же степени, что и от Европы, потому что по своей универсальности — корень, ствол и крона — лес мог быть и Россией и Европой одновременно, он был вне географии, и, входя в эту чащобу, Константин возвращался к себе, от самого себя уходя, становился никем, чтобы стать всем. Из лесу вышли мы все, в лес и уйдем, в эту вторую, после спермы мирового океана, стадию развития человеческого рода. Если мировой океан был спермой, то лес — материнская матка человечества, его утроба. И Константин, обмякший и расслабившийся, присел на пенек посреди небольшой поляны, обложенной со всех сторон волосатой плотью леса. Своим совиным, утробным зрением Константин любовался в темноте серебристыми купами дубов, трубчатыми вздутиями кустов орешника, как будто напрягшимися от влаги, и мясистыми прядями берез в сумеречном мареве, исходившем от готовящегося к рассвету неба. Складки неба, уже изошедшего дождем, с неровным отверствием луны, как будто полускрытым выходом из этой утробы укутывали влажной и теплой пеленой эту земную матку. И поглядев на лунную дыру, он окончательно расхотел покидать эту хорошо защищенную ничейность, безответственную родственность полянки, где кончались его тяготы и заботы. Как вся-

кий советский человек, которому всегда есть что скрывать, он предпочитал природное и почвенное не из любви к корням и почве, а за этот уют отсутствия каких-либо вопросов: там, где есть вопросы, надо давать ответы, а в ответах на русскую тему надо всегда врать, изворачиваться, юлить. В животе у Константина забурчало.

Он быстро и умело развел небольшой костерчик: не столько для обогрева, сколько для аппетита — понюхать едкий и сладковатый дымок от прелых листьев и сырых веток. Потом достал из корзины пару банок пива и бутерброд: складно подогнанные куски селедки перемежались с маринованным лучком. Константин вынул нож, разрезал бутерброд на равные половины, вытер обоюдоострое лезвие пучком травы и снова спрятал нож за голенище. Он с удовольствием и не спеша опохмелился. До рассвета оставались добрые три часа и можно было соснуть на свежем воздухе: все равно под ногами сейчас ничего не различишь. Он поднялся, потянулся с хрустом, сладко поежился и зевнул, прислушиваясь к бурчанию желудка и уханью филина в унисон. Для достижения окончательной гармонии надо было облегчить себя и изнутри. Он передвинулся к кустам у края полянки, расстегнул ремень брюк, приспустил их и с минуту постоял со штанами, упавшими до колен, почесывая свой живот — подставляя его прохладным дуновениям ночного зефира, как может почесываться только человек, до конца убежденный, что никого, кроме него, на этой земле, на этой полянке, среди этих кустов и деревьев больше не существует. Он не спеша опустился на карачки. Огромный зад, который предстал перед взором ошарашенной Клио и запуганного пана Тадеуша, затаившихся в этих самых кустах, своим матовым сиянием, нездешней белизной в черной оправе ночной листвы был похож на полную луну, вывалившуюся из перины грозовых облаков. Лунный свет играл на белых ягодицах и непонятно было, что освещает мерцающим светом эту поляну — русская задница или английская луна? Эта космологическая абберация вызвала у пана Тадеуша, запутавшегося в прутьях орешника, нервную икоту, и Клио пришлось зажать его икающий рот рукой. Па-

нические шорохи и шушуканье в кустах полностью заглушались, однако, Константином: он облегчался шумно и от души, он кряхтел, тужился и блаженно охал, материализуя связь своей души — она же желудок — с корнями и почвой через анальное отверстие. Сидя с листочком подорожника в руках наготове, он с каждым покряхтыванием все сильнее ощущал, как уравнивается блаженная пустота внутри него с перевозданной пустотой этой ночной поляны; как пустоту эту заполняет постепенно утешительная мысль о том, что Клио, Восток и Запад, ядерное разоружение и права человека, все это — дело наносное, преходящее, достойное разве что сожаления, сочувствия и всепрощения в свете творящегося в данное мгновение круговорота пищевых продуктов, земных плодов, базы и надстройки, средств и целей земного пребывания.

Если бы все мы, дети этой планеты, могли всю свою жизнь держаться на той же душевной ноте, что и на карачках, когда на поляне или в сортире справляем нужду — на этой ноте умиротворения в сочетании с напряженным, обостренным ощущением трудового подвига и видимых плодов наших бескорыстных усилий! Как мирно и дружно протекали бы дни человечества! Без амбиций и претензий, тирании и чиновничества. Ведь генералиссимус, справляющий нужду, в своих мыслях и стремлениях ничем не отличается от рядового, занимающегося тем же самым. Труднее всего, конечно, представить себе, скажем, Сталина за подобным демократическим занятием. Но Константин напряг воображение вместе с прямой кишкой и легко представил себе, как вот идет Сталин по сосновому бору своей дачи после обильного грузинского обеда — и глядь — нужник для охраны! И вот, устроившись на карачках над нужником с "очком" в форме сердечка, Сталин вспоминает разговоры за обедом, скажем, о связи религиозной идеи соборности и советского понятия коллективизма. И тут его озаряет: он видит под собой, у себя между ног, в очке сердечком, первообраз этой великой русской идеи — там, там, где не только белые черви, как вермишель, не только фауна и гниющая флора, но и его, и охраны, и рядовых, и офицеров, и "всея обслуживающего персо-

нала", да что там — всей страны дерьмо, кал и говно, как триединство и борьба противоречий, как случайное и закономерное, форма и содержание, единичное и общее, и даже вчерашних делегатов братской Монголии говно, и все вместе, и все едины, то есть нерушимы.

В то время как внутренний взор Константина был устремлен к диалектике круговорота земного существования, взгляд Клио был как будто припечатан огромным и белым Костиным задом, потерявшим лунный блеск и напоминающим теперь гигантский поганый гриб, готовый прикрыть зловонной бахромой всю ее жизнь — их совместную жизнь. В отличие от самого Константина, который переживал процесс единения с почвой исключительно духовно, поскольку располагался спиной к творениям своей прямой кишки, Клио впрямую лицезрела физиологию его деятельности: Константин, попросту говоря, испражнялся у нее на глазах. Он испражнялся на душу Клио, испражнялся на английскую землю, на ее страну, ее привязанности и гражданское самосознание, на английскую литературу и религию — развернувшись ко всему этому национальному достоянию своим задом. Из кустов ясно была видна натуралистическая подоплека Костиной метафизики. Из кустов ясно было, что метафизические размышления в голове у одного оборачиваются дерьмом на голову для другого. Костя, как ни в чем не бывало, выпрямился и, подытоживая свои космологические размышления, подумал, созерцая сотворенную им кучу: "И для грибков хорошо!" И аккуратно подтерся листком подорожника на глазах у Клио. Та наконец не выдержала: схватив за руку своего союзника — окончательно павшего духом пана Тадеуша, Клио шагнула через кусты навстречу своему идеологическому противнику, забыв и про нож за голенищем, и про боль в сердце. Костя оглянулся было на хруст валежника, но тут в ушах раздался грохот таких масштабов, что заглушил какую бы то ни было мысленную перепалку обеих сторон.

Выворачивающий душу наизнанку скрежет, вой, рев и визг разорвал предрассветную тишину с такой сюрреалистической неожиданностью, что у Клио тут же мелькнула в голо-

ве сумасшедшая мысль: неужели это Константин испустил газы напоследок — в качестве заключительного салюта унижения? Но эту мысленную нелепость тут же выжгли ослепительные лучи прожекторов, вдруг вспыхнувших со всех сторон, в мгновение проглотивших черноту леса и превративших полянку в цирковую арену, где заметался обезумевший Константин. Этими артиллерийскими залпами рева и света выбросило из кустов и Клио с паном Тадеушем: кругом трещали кусты и валежник, скрипели стволы деревьев — на полянку со всех сторон выдвинулись на гусеницах бронированные монстры, одноглазые циклопы с прожекторами; и эти чудовища вдруг разом зарычали мегафонным армейским окриком: поднять руки вверх, сдаваться, не двигаться с места, потому что сопротивление бесполезно. "Война, началась третья мировая война", — панически бормотала Клио, пятясь на карачках, спотыкаясь о кочки и корни; вцепившись в брючину пана Тадеуша, она отползала к центру поляны, пока наконец они не столкнулись — зад к зад — с Константином, который пятился в противоположном направлении. Оба вскрикнули. Оба вскочили на ноги. Кровавым заревом осветила поляну ракетница, и в этом зловещем сиянии лицо Константина стало сплошной маской отвращения, страха и ненависти; схватив Клио за подбородок, как будто намереваясь ее задушить, он прошипел: "Ты! — хрипел он, — выследила, да? Выследила?" Сильные и опытные руки стали растаскивать их в стороны: по полянке носились перебежками пятнистые, как зеленые леопарды, фигуры военных десантников.

* * *

"Как и с какими намерениями вы проникли в запретную военную зону?" — добивался от задержанных младший офицер ракетных войск и не получал ответа. Заступая на ночное дежурство, он получил строжайшие инструкции проявлять особую бдительность в связи с готовящейся массовой демонстрацией протеста пацифистов-антиядерщиков.

Однако задержанная тройца была почище всяких пацифистов. У рыжего лейтенанта голова шла кругом. Он не мог вы-

жать из них никакого логического объяснения, почему и каким образом они проигнорировали все предупредительные знаки и колючую проволоку на подступах к ракетной базе. Вместо этого задержанные выясняли отношения друг с другом на странной смеси русского с английским. Они его принимали явно за мальчишку. Они морочили ему голову дешевыми трюками. Они притворялись невинными идиотами. Изображали из себя клоунов. Взять, хотя бы, их главаря, Константина. Он был явно ключевой фигурой в этой, пока неясной, провокации, а возможно, и конспирации. Одно то, что задержанный был русским, настораживало. Он явно руководил этой троицей. Когда в административное помещение был введен его напарник, гражданин польского происхождения, Константин рванулся в его сторону с кулаками: у них явно были свои счета, в связи с провалом операции. Когда двое солдат силой усадили Константина, тот прорычал малопонятное "Ну пан Тадеуш, ну хитрюга!" — и дальше последовало слово "гад", которое лейтенант, изучавший русский язык в армии, принял за американское произношение английского слова "год" — "бог". Возможно, он намекал на высшую меру наказания за провал операции. А что, действительно, штука ли: один поляк, другой — советский подданный. В конце концов, Польша — страна советского блока; несмотря на разные подпольные "солидарности" и борьбу за отъезд советских евреев в газете "Дэйли Телеграф", лейтенант прекрасно отдавал себе отчет, что подобные антисоветские кампании — прекрасный камуфляж для засылки шпионов советскими органами. Этот "Константин", конечно, разыгрывал из себя ничего непонимающего, слегка нетрезвого и, кроме всего прочего, с расстегнутыми штанами. Притворялся, что практически не понимает по-английски, хотя в стране уже по меньшей мере год, судя по его советскому паспорту с печатью на право жительства. Укоренился в стране под видом мужа этой невменяемой англичанки, которую он неизменно называл ядерно-химическим прозвищем "нуклия". Одна из тех полупомешанных, с мозгами выполоснутыми, выжатыми и вывешенными на просушку под солнцем очередной модной идеологии. Се-

годня они начинают с пацифистской чепухи, ненависти к собственному, якобы агрессивному, правительству, с демонстративной любви к своему врагу и брака с иностранцем, а заканчивают вольной или невольной службой на советскую разведку. Двойная жизнь, в конечном счете медленно, но неизбежно приводящая к безумию: недаром эта "Нуклия" обвиняла своего мужа в людоедстве, твердила про какой-то нож и требовала, чтобы его изолировали. Типичное помешательство левачки: разочарование в несбыточных идеалах, помноженное на количество сигарет с марихуаной. Никакого ножа при беглом досмотре задержанных не обнаружили. Зато обнаружили гораздо более интересный предмет, запрятанный во внутренний карман Константина.

"Каково назначение?" — спросил лейтенант по-русски, чтобы заранее избежать какого-либо недопонимания со стороны задержанного, и помахал перед носом Константина картой, найденной при личном досмотре. Пан Тадеуш рванулся было к заветной карте, но, опережая окрик лейтенанта, Константин рявкнул: "Сидеть!" — и Тадеуш испуганно ретировался в свой угол. Между русским и поляком явно существовала четкая иерархия в доступе к секретной информации: содержание карты пану Тадеушу знать, видимо, не полагалось. "Каково назначение?" — повторял британский лейтенант. Карта была испещрена загадочными шпионскими значками: кружочками, крестиками, звездочками и треугольниками. Впрочем, не такие уж они были загадочные, эти кабалистические знаки: их местонахождение на карте совпадало с местом размещения ракет разного радиуса действия и различных типов ядерных боеголовок. "И зачем корзина?" — еще строже спросил лейтенант.

— "Для грибов", — помедлив, неохотно ответил Константин.

— "Гриб?" — иронически улыбаясь, со вкусом повторил за ним лейтенант знакомое ему славянское слово.

— "Машрум" — с восточно-европейским акцентом поспешил перевести на английский поляк-сообщник, заискивающе поглядывая то на лейтенанта, то на советского резидента.

Гриб над Хиросимой, ну конечно, вся эта пацифистская чепуха.

— "Занимательным образом вы классифицируете их, эти грибы, так сказать, — постучал лейтенант карандашом по шпионской карте с ядерными боеголовками. — Будете отмалчиваться, пока не доставят в Лондон, или перейдем к расшифровке кода прямо на месте?"

— "Это не атомные грибы, — отгадал наконец Константин направление ума лейтенанта, следя за его карандашом. И метнув взгляд на Тадеуша, выдал из себя очередной секрет грибника: — Это подосиновики. Если звездочка — значит, подосиновики. Знаете, с красной шляпкой".

"Подосиновики" — занес лейтенант редкое слово в записную книжку. Так вот, значит, как красные называют крылатые ядерные ракеты.

— "Ну да, подосиновики. Те, что под осиной растут, — охотно разъяснил Константин. — Но под березой подосиновик тоже растет. Как и подберезовик — под осиной".

"Подберезовик", — старательно повторял за ним лейтенант, следя за пальцем Константина,двигающимся по треугольникам, расставленным именно там, где находились, по сведениям лейтенанта, замаскированные ракетные установки типа "Земля-земля".

— "Только у подосиновика красная головка, а у подберезовика — черная", — втолковывал Константин невежде-англичанину, знакомому лишь с шампиньонами.

— "Красная головка? Боеголовка? — систематизировал лейтенант. — Ядерная?"

— "Не ядерная, а ядреная!" — поправлял его Костя.

— "У подберезовика?" — уточнял лейтенант.

— "И у подосиновика. Вообще у хорошего гриба головка ядреная. Она называется — шляпка, — увлекался Константин. — У подосиновика шляпка хороша тем, что никогда не бывает червива".

— "Червива?!" — ужаснулся лейтенант. Ядерная ракета с боеголовкой, нафаршированной червями, была отвратительным апокалиптическим кошмаром.

— "С подосиновиком в этом смысле могут соперничать только лисички: ни одного червячка!" — продолжал Константин.

— "Кантареллус цибариус", — торжественно изрек пан Тадеуш.

— "Это еще что такое?" — спросил лейтенант в замешательстве.

— "Это латинское название лисичек", — поспешил разъяснить пан Тадеуш.

— "Кантареллус цибариус", — мечтательно повторил лейтенант. Неужели в советской разведке все знают латынь? Никогда не следует недооценивать своего врага.

— "Да что вы заладили: лисички, подберезовики! — ревниво вмешался в дуэт латинистов Константин. — Белый гриб — вот царь грибов!" — вздохнул он и подумал, что ни лисичек, ни белых ему собирать здесь уже не придется.

— "Белый?" — уточнил лейтенант, отыскивая соответствующий значок на Костиной карте. "Белые", насколько ему было известно, воевали с "красными" вслед за русской революцией.

"Болетус едулис", — с готовностью предложил латинский эквивалент белого пан Тадеуш.

— "Какой значок на карте вы используете для белой боеголовки?" — склонился лейтенант над ракетной географией.

"Белой головкой называли в Союзе водку", — хмуро заметил Константин.

— "И все же: какой значок на карте?" — настаивал лейтенант.

— "Не скажу! — вдруг твердо заявил Костя и гордо выпрямился на стуле. Он и так выдал этим обормотам местоположение подосиновиков, подберезовиков и лисичек. Хватит на две зимы маринадов. — Не скажу", — повторил он.

"Что ж, придется разговор отложить до лондонской штаб-квартиры", — произнес лейтенант угрожающе.

"А с какой стати? — Константин стал повышать голос. — Понаставили ракет в самых грибных местах Англии — и теперь всех на пушку берете? Я от вас не требую разглаше-

ния ракетных секретов — и вы не лезьте в мою стратегию грибника!" — возмущался Константин. Нет, белый гриб он не выдаст. Он представил себе это чудо флоры: стоит где-нибудь под ореховым кустом, подбоченясь, шляпка-королек слегка набекрень, земляника свисает, как со шляпки модницы. Нет, он не выдаст белый гриб. Так он и сказал лейтенанту. Тот нахмурился, но решил не настаивать. В конце концов, этот русский шпион, может быть, просто набивает себе цену двойного агента в будущем. С этим белым грибом лучше пусть разбирается начальство. Тут с одними шифрованными подберезовиками — и то никак не разберешься.

— "И что вы с ними делаете?" — пылливо спросил лейтенант.

— "С кем?" — не понял Костя.

— "С грибами, как вы их называете. Подберезовики. Подосиновики. Лисички. Что вы с ними делаете, когда уже обнаружили?"

— "Как что? — поражался Костя слабоумию англичанина. — Как, что делаю? Я их собираю. И кладу в корзину". — Костя указал на корзину. Лейтенант представил себе эту корзину, полную ядерных боеголовок и отер пот со лба.

— "Не морочьте мне голову, — сказал он. — Кому вы передаете собранные данные?"

— "Я их никому не передаю! — раздраженно ответил Костя. — Это пан Тадеуш пытается вот уже год пронюхать, где я грибы собираю. И передать по цепочке своим собратям-полякам. Но шиш с маслом. Пусть еловые шишки собирает и жарит их себе с уксусом, вот что. А я свои грибы жарю, солю, мариную".

— "Маринуете?" — заинтересовался лейтенант. То есть консервирует. В море? Его подозрения приняли несколько неожиданное для него самого направление.

— "Ну да, — подтвердил Костя, — мариную. И еще суп варю. А что?"

— "Он у нас фунгофил", — снова влез с латинизмами пан Тадеуш.

— "А ты бы, Тадеуш, заткнулся, что ли?" — обрезал его Костя.

— "Суп, значит, варите? — все больше заинтересовывался лейтенант. — А потом что делаете? Жуете?" — и он нехорошо засмеялся.

— "То есть, если гриб, скажем, маринованный или жареный, то жую. А если суп — то хлебаю. Я их, короче, ем, грибы. А как же иначе?" — недоумевал на этот раз Константин.

— "Ну да, я понимаю, — поспешил согласиться неизвестно с чем лейтенант. — Я просто так спрашиваю, для интереса. Потому что некоторые не жуют, а нюхают".

— "Нюхают?"

— "Ну да. Нюхают настой. Молодые люди в наше время чего только не нюхают — даже клей!" — и лейтенант скорбно покачал головой.

— "От клея, должно быть, кишки слипаются?" — высказал мрачное предположение Константин. Лейтенант кивнул:

— "Дохнут, как мухи. Я, знаете ли, предпочитаю хорошо закрученную сигаретку марихуаны, а вы?" — доверительно спросил лейтенант.

— "Табак? — переспросил Константин. — Я вообще не курю. Разрушает вкусовые перцепторы".

— "Это не для вкуса. Это для души", — стал объяснять было лейтенант, вспомнив свою любовницу, квартиру в Челси и вообще дискотеки-дансинги.

"Для души? Тогда зачем курить? Душа — в желудке", — Константин был неумолим.

"Но ведь эти поганки — смертельно ядовиты", — начал было лейтенант, но вспомнив, что грибок мескалина употребляли в качестве наркотика еще американские солдаты во Вьетнаме, подумал: а не разрабатывает ли этот русский агент новое химическое оружие на грибной основе?

Тем временем Константин, в который уже раз за этот день, стал втолковывать лейтенанту, что поганый гриб — понятие относительное, за исключением, может быть, мухомора или, скажем, белой спирохеты из другой грибной области, а так, если даже чернушку или свинушку проварить хорошенько несколько часов — не найдешь лучше гриба для засолки.

— "Карамофиллус марцуолос", — угодливо вставил пан Тадеуш.

— "Что вы имеете в виду?" — спросил лейтенант.

— "Чернушки, — авторитетно пояснил Тадеуш. — Должен, однако, заметить, что чернушки в Великобритании не встречаются".

— "Не встречаются?" — ехидно улыбнулся Константин.

— "Не встречаются", — повторил пан Тадеуш.

— "Прямо-таки ни одной чернушки на все Британские острова?" — ехидно зацокал зубом Костя. Он давился от смеха. Он явно был совершенно противоположного мнения на этот счет.

— "Не может этого быть!" — воскликнул лейтенант, как всякий профессионал, а тем более англичанин, входя в азарт, как будто речь шла не про грибы, как кодовое название ядерных ракет, а про черное население Альбиона. Но Тадеуш упорно стоял на своем: чернушки в Великобритании не водятся. Во Франции — пожалуйста, хоть под каждым кустом, а вот на здешних островах — ни одной чернушки, а Константин, многоуважаемый Константин, в многообразных грибоведческих познаниях которого пан Тадеуш ничуть не сомневается, путает скорее всего чернушку с британской разновидностью леписта нуда или же руссула нигриканс, то есть, попросту говоря, с восточно-европейской сыроежкой. Лейтенанту не понравилось ни сравнение британской разновидности "чернушек" с восточно-европейской сыроежкой, ни первенство французов в этом виде поганок. Его патриотические чувства были ущемлены. Этим поляком.

— "А вы-то, собственно, что здесь делали, на территории военной базы? — придиричивым тоном следователя обратился он к пану Тадеушу. — Этот задержанный, — и лейтенант указал на Константина, — может подтвердить свое хобби по собиранию подозрительных грибов наличием хотя бы корзины, — и он указал на корзину. — А вы что здесь делали? И вы?" обратился он к Клио.

— "Мой муж психически болен", — отрешенным голосом чуть ли не продекламировала Клио фразу, которую устало

повторяла уже который час. Повторяла совершенно безрезультатно. Она перехватила жест Кости, когда тот поднес палец к виску и подмигнул лейтенанту, и тот в ответ скорчил физиономию в понимающей гримасе: даже если Константин не псих, а советский шпион, ясно было, что мужской сговор — заговор против нее, — был сильнее всех других разногласий и конфронтаций — государственной политики и границ, военных секретов и разведывательных органов. Единственный трезвый голос в этой сумасшедшей гонке хорошо вооруженных амбиций — ее голос — объявят недееспособным, объявят голосом душевнобольной истерички, лесбиянки, помешавшейся на фаллическом символе ядерной ракеты. Единственный союзник, пан Тадеуш, и тот пошел на попятный, стараясь завоевать расположение этих сильных мира сего.

"Я хотел через Костю проследить грибные места", — понурив голову, признался пан Тадеуш.

— "Шпионили, значит", — констатировал лейтенант. Константину этот англичанин все больше нравился.

- "Да разве можно полякам доверять? — и, развернувшись к лейтенанту, Константин стукнул кулаком по столу. — Про чернушки рассуждает. Кому вы верите: этому соглядатаю или мне, который эти чернушки отсюда уже год корзинами носит?"

Лейтенант склонен был верить Константину, а не этим восточно-европейским теориям о приоритете французской грибной флоры над английской. Невероятным и обескураживающим, правда, казалось лейтенанту признание задержанного в том, что тот уже год регулярно проникал на территорию ракетной базы. Если бы не костер, который был замечен в сегодняшнюю ночь с вертолета, этот русский продолжал бы свои вылазки и грабеж ракетной флоры совершенно безнаказанно. Впрочем, когда на базе вся охрана — один лейтенант, а рядовых раз-два и обчелся, — какая может быть секретность в вопросе подберезовиков и подосиновиков? Если, конечно, эти грибные шляпки действительно существуют в близлежащих кустах, а не являются метафорой ядерного зонта или атомного взрыва. Прежде чем продолжить допрос,

надо в первую очередь убедиться, а есть ли на территории подведомственной ему ракетной базы эти самые лисички и соответствует ли их местонахождение значкам на карте? И вообще, есть ли в Великобритании чернушки, кроме, конечно, пакистанцев? И, может быть, если повезет, он узнает, как выглядит этот самый болетус едулис, местонахождение которого категорически отказывается указать этот мистический русский. Вместо того чтобы торчать в этой душной канцелярии, можно совершить крайне занимательную экскурсию, полезную и для безопасности страны, и для собственного здоровья. Английский спортивный дух по поиску мистической чернушки поднял лейтенанта на ноги, как ракету типа "Земля-воздух", и через несколько секунд вся кавалькада во главе с лейтенантом и с эскортом солдат выходила из контрольно-пропускного пункта вверх по направлению к опушке на крутом холме.

Полянка, казавшаяся ночью потаенным провалом, темной и влажной утробой земного бытия, представлялась сейчас, под густеющей синевой августовского утра, неким протуберанцем солнечных лучей и листвы, которую порывы ветерка сворачивали в купы, похожие на гигантские виноградные гроздья — из некоего небесного вертограда, возникшего земным отражением в этом уникальном, чисто английском освещении, переставляющем все планы и меняющем законы перспективы, преподносящем каждую деталь с фотографической объективностью вне зависимости от расстояния и выдержки. Контуры желтеющих осенью библейских холмов завершали крылатые ангелы в леопардовой шкуре солнечных пятен — белесые тела межконтинентальных ракет. Константину они показались гигантскими поганками доисторического леса; в этом раю он уже не был богом. Он сидел на пенечке и, зло шурясь от солнца, следил, как распоряжается лейтенант его грибной делянкой: как рассылает своих рядовых в разных направлениях по краям опушки, к кустам орешника и к сплоченному коллективу берез, как сам обшаривает корневища одинокого дуба, сверяясь с Константиновой картой. С противоположной стороны полянки Константин слышал, как вхо-

дят в азарт эти новообращенные варвары, эти неофиты фунгофильства, как охают и вскрикивают, найдя очередную поганку в отдаленных кустах. Святая святых, этот храм, этот Константинополь, был захвачен басурманами, язычниками, не отличающимися скоромного от трэфного, поганки от сыроежки.

"Подосвиновик, подосвиновик!" — коверкая только что выученное слово, кричал лейтенант, вприпрыжку пересекая полянку. Остановившись перед Константином, он с гордостью отличившегося школьника, протянул ему найденный гриб: "Подосвиновик. Красная головка. Так?"

Константин взглянул на ослепительно-красную остроконечную шляпку гриба, как будто забрызганную подсохшими белыми пятнами, не иначе, как спермы. Он взглянул на залевшиеся той же грибной кровавостью щеки лейтенанта и ему захотелось запечатлеть на них хороший плевок, в тон пятнам на шляпке гриба.

— "Это мухомор, — сказал Костя и сплюнул. Он повертел в руках гриб: — Мух травить можно".

Лейтенант посмотрел с надеждой на пана Тадеуша, примостившегося рядом, но тот скривился в извинительной улыбке и развел руками: мол, рад бы опровергнуть, но мухомор есть мухомор. Впрочем, на обескураженном лице лейтенанта тут же снова заиграло румянцем беспечное любопытство и энтузиазм: он явно не собирался отступать при виде первой же поганки и упускать столь удачный предлог для уклонения от ежедневной милитаристской рутины.

"Накормить бы их всех мухоморами, чтоб смогли забыться и заснуть", — Константин повертел в руках гриб, и взгляд его остановился на той, корневой части ножки, где белые волокна хрупкой трубки переходили в бугорки, отороченные крошками чернозема, оборванными корешками травы, сором живой почвы. Мухомор был вырван с корнем. И если эти солдафоны найдут подберезовик, то тоже с корнем вырвут. И подосиновик. И белый. Все вырвут с корнем. Ни один гриб больше не вырастет на этом проклятом месте. На этом месте, где вместо грибов вырастают смертоносные поганки-ракеты, орудие массового уничтожения. Значит, есть все-таки общая

почва у русских грибников и английских пацифистов? "Что же они с грибами делают?" — пробормотал Константин, и в этом вопросе неважно было, кто такие "они" и о грибах ли вообще идет речь: с такой же интонацией он мог бы спросить и : "Что же они с людьми делают?" И он толкнул в бок пана Тадеуша.

— "Все грибы загубят. Грибницу в земле не оставляют, с корнем рвут, — и он указал Тадеушу на ножку мухомора. — Поднимайся, Тадеуш, на защиту грибов. У тебя нож есть? Я-то свой за голенищем захоронил".

Тадеуш подтвердил, что нож у него есть, но подниматься он не решается, поскольку это будет воспринято как попытка к побегу и, следовательно, дальнейшее разбирательство, а кто будет торговать сегодня в его продуктовой лавке? Но Константин был полон жертвенной решимости: неужели, сказал он Тадеушу, ему какие-то гроши важнее будущего этой грибной делянки? Вон пацифисты живота своего не жалеют ради мира во всем мире, а ему ничего не грозит, кроме пары пенсов, упущенных в лавке, а строит он из себя мученика. "Какой такой грибной делянки?" — осторожно спросил пан Тадеуш, игнорируя политические обвинения в конформизме и жмотстве. И Константину пришлось признаться, что имеет он в виду, да, делянку, да, с белыми грибами. И какими белыми:

"Мездры, то есть бухтармы, проще говоря, и следа нет: шляпка мясиста — как телячья вырезка! Исключительные боровички!" — разжигал воображение пана Тадеуша Константин. И если они с Тадеушем не доберутся до этих шедевров первыми, не срежут их ножичком остреньким аккуратненько, оставив в почве грибницу, — чтобы через месяц-другой, еще до зимних заморозков проросли грибки вновь отборными шляпками на радость человечеству, вырвут их с корнем жадные руки басурманов и тогда конец грибному раю в этой части земного шара. Разве Константин раскрыл бы секретную географию этого белогвардейского грибного заповедника, если бы не угроза геноцида со стороны хорошо вооруженных варваров? Одному ему, Константину, этой полянки с борови-

ками не спасти: слишком много грибов просится в корзину — одному не успеть. Он готов поделиться перед лицом тотального уничтожения со своим польским братом. Может быть, это испытание ниспослано им, Константину и Тадеушу, как раз для осуществления вечных чаяний о братстве славян между собою? Во имя совместного противостояния разлагающему западному рационализму ценителей одних только шампиньонов. "А когда вернемся домой с победой, то есть с корзиной полной грибов, маринадами обмениваться будем", — рисовал идиллическую картину славянского братства Константин.

Но пан Тадеуш не нуждался в дальнейших увещеваниях. Он уже вставал во весь рост, чтобы сделать рывок в сторону желанной делянки, и Константину как опытному конспиратору пришлось осадить его, взять под локоть и провести с ним инструктаж по осуществлению совместного стратегического маневра. Практически не меняя ленивой позы, оба стали отползать, с паузами и отвлекающими подозрение жестами, в сторону кустов у края полянки, пятясь задом, делая короткие перебежки и снова усаживаясь в позу загорающих на солнце бездельников. Впрочем, о них, казалось, совершенно забыли: лейтенант и его приспешники с головой ушли в новое, якобы стратегическое, упражнение по поиску странных представителей флоры с разноцветными головками под кронами деревьев на другом конце поляны. Даже приглядывающий за задержанными рядовой рылся дулом автомата в корнях травы, беспечными кругами удаляясь от своих подопечных. Константину оставалось обогнуть еще один куст, чтобы скрыться в безопасной неразличимости лесной чащобы. Пан Тадеуш с нетерпеливостью неопытного школьника, теребил его за рукав, подначивая на последний рывок — еще десяток шагов — и они на краю заветной делянки, грибного парадиза. В мгновение ока спина Тадеуша мелькнула среди стволов американского дуба. Он все еще надеялся добраться до боровиков первым. Все-таки идеал о славянском братстве вряд ли осуществится при жизни нынешнего поколения советских людей — разве можно доверять полякам? В грибном деле поляк — бич божий! Пускай себе пляшет в чаще; без провожатого, без Ива-

на Сусанина в лице Константина, он только заплутается и останется ему жрать поганки с папоротником. Константин усмехнулся, глядя, как беспомощно скачет пан Тадеуш по краю опушки, строя вопросительную физиономию, махая зазывно руками Константину, требуя дальнейших-указаний всеми доступными мимическими гримасами. Константин скрылся из поля зрения Тадеуша, по пластунски передвинувшись к кусту орешника. Он поднялся с колен, приготовившись к последней перебежке. Он уже не сомневался в успехе хорошо рассчитанной операции и мускулы, напрягшиеся струной, играли победный марш. Четким привычным жестом он выхватил нож из-за голенища, выпрямился во весь рост и в одном прыжке оказался за кустом, в грибном царстве.

На него в упор смотрела пара враждебных глаз.

"Убийца", — сказал Клио зловещим шепотом. Она стояла в нескольких шагах от него, с потной сбитой на лоб челкой короткой стрижки, с искривленной черточкой стиснутых губ, со сжатыми до белых костяшек кулачками. Она выглядела так, как будто защищала собой не только пана Тадеуша и других будущих жертв Кости-людоеда, а прямо-таки весь английский лес, выстроившийся за ее спиной. Или этот лес выстроился за ней, как за своим командиром, в битве против Кости-грибника. Он оглядел болезненную белизну ее припухшего от бессонницы лица с провалом глаз, как будто выеденных улитками, на жидкую бахрому белобрысой челки и пробормотал с отвращением: "Поганка. Белобрысая поганка!" — и еще крепче сжал нож. Слева за спиной, далеко позади стал расти непонятный гул. Константин нервно оглянулся: с высокого холма опушки открывался вид на периметр колючей проволоки с контрольно-пропускным пунктом ракетной базы. Там творилось нечто невероятное. Толпы людей с плакатами в руках загрохотали площадку для военных учений и, энергично орудуя древками, смело пробивали брешь в проволочной изгороди. На крышу проходной вскарабкался человек и, яростно жестикулируя, стал обращаться к толпе с зажигательной речью, периодически указывая на ракеты за спиной. По территории военной базы метались рядовые охраны:

оставшись без командира, они не знали, что предпринять, оказывая лишь пассивное сопротивление зверствующей толпе пацифистов. В докладчике на крыше Константин узнал Антони и чуть было не помахал ему приветственно рукой, вспомнив Сталина на мавзолее. Он вдруг испытал к этому демагогу чувство солидарности, не то чтобы даже солидарности, — скорее — общей ненависти к лейтенанту, рыскающему в кустах в поисках грибов: его, Константина, грибов, и на его, Константина, делянке, отданной под разгром и погром солдатскому сапогу, сапогу милитаризма. Даже если он и не сочувствовал в эту минуту пацифизму, то радовался, по крайней мере, тому ущербу, который нанесет пацифистская демонстрация и карьере этого лейтенанта лично, и военному министерству вообще. Паника в стане врага была налицо: по тропинке от ворот базы, вверх по косогору к опушке бежал, вырвавшись из лап демонстрантов, часовой, размахивающий на ходу руками и орудий во все горло. За кустами справа послышались встревоженные голоса охраны и первые четкие выкрики команды: лейтенант явно очухивался от грибного дурмана. "Обвинение в шпионаже отпадет само собой в виду нелепости", лихорадочно соображал Костя, но взбесившийся лейтенантик, несомненно, припишет Константину участие в пацифистской конспирации через попытку ввести в заблуждение военную администрацию путем камуфляжа в виде якобы собрания грибов, отвлекающего бдительность охраны военной базы. Сейчас его схватят и не видать ему больше этой полянки, а поляк Тадеуш тем временем, небось, уже собрал под шумок весь урожай боровиков для своей вонючей лавчонки.

"Отойди, Нуклия, добром тебя прошу. К пацифистам своим иди, дура", — хрипло сказал Константин, смерив тяжелым взглядом Клио. Та не двигалась. "Сгинь, поганка!" — выругался он. Лезвие ножа в его руке тускло блеснуло на солнце, когда Константин шагнул вперед. Не сводя расширившихся от ужаса глаз с наставленного на нее острия, Клио завизжала. Разве ей, затравленной мыслями о мстительной природе Константина, о конфронтации двух миров и о всемирном заговоре мужского шовинизма, могло прийти в голову, что нож то-

чился не для ее ребер, а для спасения грибницы на соседней полянке? Да и забыла она об идеологических конфронтациях в это мгновение: она видела лишь разъяренное лицо чужеземного варвара, сжимающего обоюдоострое лезвие, и страх того, что вот сейчас, через секунду ее не будет, что от нее, всю жизнь ждавшей ласки и утешения, вдруг останется истекающий кровью мертвый кусок освежеванной плоти, наполнил ее легкие и вырвался из разинутого рта диким визгом, пронзительным, животным визгом. Константин рванулся вперед, чтобы заглушить этот визг, подгоняемый хрустом веток под солдатскими сапогами за спиной. Клио рухнула на колени, закрыв лицо руками. Всего дальнейшего она не видела.

Она не видела, как на глазах у подоспевших сзади лейтенанта с солдатами, на глазах у опешившего Константина, из-за ветвей за спиной Клио выскочило существо, своей костлявостью и бледностью искаженного лица напоминающее привидение. Этот длинноногий призрак вылетел из кустарника в прыжке, как будто не касаясь земли, и обрушился на Константина, вцепившись в него, как гигантская летучая мышь, пытаясь прибить его к земле. Константин пошатнулся, попятился назад, стараясь сбросить этого лешего, споткнулся, оступившись, и рухнул спиной к кусту орешника, утягивая за собой живую царапающуюся ношу. В падении он ударился боком о торчащий сук, но ему показалось, что он напоролся на собственный нож, все еще зажатый в руке, и как будто завис на лезвии, как на вешалке. Перед глазами поплыл огромный коричневый ком тошноты, а может быть, он видел в сантиметре от себя кучу собственного дерьма со вчерашней ночи. "Хорошо, что не вляпался. Повезло", — подумал он машинально. Он привстал и тут же перед глазами, видимо, от удара затылком о землю, коричневый ком трансформировался в гигантский кровавый мухомор, только вместо белых пятна на нем были черными. Наконец мухомор сморщился, очертания его сузились и стали четкими: Константин обнаружил, что рядом с ним лежит тело человека, из живота которого и растет этот самый кровавый мухомор, и еще через мгновение он понял, что это не мухомор, а огромное пятно крови, медлен-

но проступающее сквозь разодранную рубаху на животе у распростертого рядом тела. Тело это придавливало его руку, и когда он с трудом высвободил кисть, из нее на землю выпал окровавленный до рукоятки нож. Его нож. Нож грибника. Как будто он пытался этим ножом срезать гигантский кровавый мухомор, сохранив грибницу там, внутри, в почве — в животе, чтобы мухоморы вырастали вновь и заново каждый грибной сезон. Но это было полным абсурдом: как может опытный грибник польститься на мухомор? Можно опята спутать с поганками, и наоборот, но мухомор?!

До него наконец дошло, что выскочивший на него из кустов психопат напоролся на его нож в падении. Хорошо еще что он сам не пропорол себе бок этим корявым сукон. Было бы два трупа. И Клио не хватило бы голосовых связок, чтобы выть над двумя трупами так же, как она сейчас выла над одним, как будто это был не случайный психопат, нападающий из-за кустов на русских грибников, а ее ближайший родственник. Тип этот был отвратителен Константину даже своей внешностью: как будто вымазанное белилами лицо составившегося подростка с коком крашенных — под панка — в разноцветную радугу волос, торчащих, как хвост у павлина, в разные стороны; с алым пятном на животе он был похож на дикую экзотическую птицу, сбежавшую из зоопарка и попавшую в капкан. Клио стояла на коленях перед этим коченеющим на глазах уродом и, раскачиваясь, выла, без слез, выла, повторяя как заклинание:

"Колин! Колин! Колин!" — повторяла она загадочное, хотя и по-русски звучащее слово "Колин". Может быть, она хотела сказать: "Костин", мол, "Костиных рук дело", но путала имена Коли и Кости? "Чего он сам под нож полез?" — озирался Константин на сжимавшееся вокруг него кольцо солдат и пацифистов. Вдалеке послышался вой полицейской сирены. "Чего он сам под нож полез? Я грибы собираю — чего под нож лезть?" — оправдывался Константин неизвестно перед кем по-русски, но его слова заглушал вой Клио, повторявшей имя Колина, как кукушка, и, как кликуша причитавшей,

что Колин ее хотел спасти, он хотел спасти ее, ее и больше никого, никого больше. Разве что самого себя тоже. И Жан-Жака Руссо.

* * *

Похороны Колина происходили по месту жительства, в одном из бесконечных лондонских пригородов, которые все еще называются Лондоном, но в действительности представляют собой беспорядочное нагромождение вереницы домов, отвергнутых центром города и сгрудившихся в хутора, между которыми простираются пустыри, пустоши, парки и лужайки, окруженные грязными складками и заброшенными фабриками. Клио ехала с тремя пересадками, сначала на метро, потом на городском поезде-надземке, а потом надо было еще ехать на автобусе. Это путешествие ежедневно проделывала и мать Колина, отправляясь в офис, и его отец, и сам Колин, как пилигримы некой загадочной секты, отправляющиеся на поклон к идолу за тридевять земель, чтобы затем снова вернуться в свои дикие пещеры. Трясаясь в городском транспорте, Клио думала лишь о том, как она, подойдя к могиле, когда будут опускать тело Колина, положит на крышку гроба книгу Жан-Жака Руссо, как будто эта книга, пылившаяся у нее на полке который год, была ее единственным долгом, невозвращенным Колину при жизни. Она ведь дала обещание отцу Колина передать рождественский подарок сыну и так и не выполнила обещания. Она обманула и отца и сына и святого духа. Колин следил за каждым ее шагом, потому что, видимо, хотел получить обратно свой рождественский подарок. Из-за этой невозвращенной книги все началось, она не осталась бы в офисе на рождественскую вечеринку, если бы не обещание передать книгу Колину, и Колин не бросился бы на нее в ту ночь, в закоулке с помойными баками. Из-за этого Колин и сбился с маршрута, маршрута его родителей и предков, маршрута пилигримов рабочего класса — на общественном транспорте из холодного дома до душного места работы и обратно — и попал в круговорот событий, которые ему не дано было понять, в конфликт между Востоком и Западом

на лесной поляне. Она положит эту книгу ему в могилу, как чтение на дорогу по маршруту из душного офиса этого мира в холодный дом вечности.

Никакой могилы, однако, не оказалось. Ей, конечно, не пришло в голову, что никакой могилы мать Колина позволить себе не может, что похороны будут происходить в крематории. Она проследовала за гробом с невзрачной кучкой родственников от ворот крематория до зала ожидания, где служитель произнес соответствующие крематорные слова молитвы о "прахе к праху", нажал соответствующую кнопку, и гроб исчез за траурной занавеской. Во время короткого прощального стояния у гроба она не решилась развернуть обертку книги, это было нелепо, бумага зашуршала бы и на нее стали бы враждебно коситься. И кроме того: нельзя же бросать книгу в огонь крематорной печи. В дальнем конце зала она заметила отца Колина, жавшегося в сторонке, боявшегося, видно, подойти близко к гробу сына из-за страха перед истерикой супруги. Клио встретила с ним взглядом, он как будто осторожно поздоровался глазами и даже нелепо вздернул руку в полуприветствии, сделав вид, что разглаживает пробор, но когда церемония закончилась и Клио решила вернуть книгу ему — по назначению — отец Колина исчез. Она повернулась к матери Колина, стала что-то объяснять ей, протягивая книгу, но та, с заплаканными рыбьими глазами, с дыханием, источающим запах дешевого джина, вдруг стала кричать на Клио, прямо в крематории, и голос отдавался гулким эхом под кафельными сводами, как в церкви: "Коммунистка! — кричала мать Колина, — переженились на коммунистах, чтобы убивать наших английских мальчиков!" И Клио, напуганная этими истеричными выкриками, непонятной переменой в поведении своей сослуживицы и полной неспособностью сказать хоть слово в оправдание, была вытолкнута брезгливыми и враждебными взглядами наружу.

К автобусной остановке нужно было идти через заброшенный чахлый парк из кустов и хилых березок с нестриженной травой. Она прислонилась было к березе, чтобы постоять и прийти в себя, но тут же отшатнулась, заметив у себя под но-

гами огромные сгустки крови в траве. Она опустилась на колени и раздвинула пожухлые пряди: в траве красовались нестерпимо алые грибы на белоснежных ножках; багровые шляпки были запятнаны сгустками белых клякс-плевков. Она снова вспомнила Колина в траве с распоротым животом. Под шляпкой гриба свисала белоснежная бахрома — как кружево нижней рубашки под алой юбкой. Сжимая хрупкую ножку двумя пальцами, Клио осторожно вытащила из земли эти кровавые следы природы, свернула из коричневой бумаги, в которую был обернут Руссо, огромный кулек, и всю дорогу с тремя пересадками везла этот ядовитый урожай с похорон, как новорожденного младенца.

У двери квартиры валялось письмо и, проходя в кухню, Клио вскрыла конверт и пробежала несколько последних строчек: "...когда придешь в себя. Пусть смерть этого недалекого, но ищущего правды мальчика из рабочего класса послужит предостережением для тех, кто превращает наши леса и доли в плацдармы для ядерных ракет. Кстати, по-моему предложению, со следующей недели мы открываем семинар по сборанию грибов. Как показала наша последняя демонстрация протеста, идея собирания грибов на территории военных баз — прекрасный маневр, который мы, пацифисты, можем принять на вооружение с целью обескураживания милитаристских кругов Великобритании. Почему бы нам не называть себя "грибниками"? Несколько примитивный каламбур про "атомный гриб", но тем не менее: пусть полиция попытается обвинить нас в незаконных демонстрациях, когда сотни защитников мира появятся перед колючей проволокой ракетных баз с грибными корзинами! Мы не против ракет — мы за свободное собирание грибов! Таков должен быть наш лозунг. В связи с этим, нельзя ли как-нибудь привлечь Константина? Прочитать небольшую лекцию о разных видах грибов — чтобы нам как-то ориентироваться на местности и быть во всеоружии во время допросов в случае ареста. Он, я полагаю, был бы заинтересован в подобной просветительской деятельности. Я понимаю, что у вас в данный момент напряженные личные отношения, но, надеюсь, ты сумеешь поставить общест-

венные интересы выше семейных дрызг. Дружески обнимаю, до скорой встречи, твой Антони".

Клио сложила письмо вчетверо и разорвала его на мелкие кусочки.

После ареста Константина дом был пустым, как женская утроба после аборта. Войдя в кухню, она стала собирать в одну кучу все варенья с соленьями, все копчености и маринады в банках и связках, все плоды кулинарного гения Константина. Все это она вынесла на задний двор и вывалила посреди лужайки. Надрываясь от тяжести, она выкатила и бочки с мочеными яблоками, солеными огурцами и маринованными помидорами. Потом нарубила веток с полумертвой ненавистой березы в углу участка, обложила ими кулинарную кучу, облила все это керосином и подожгла. От чесночных колбас и копченых рыб повалил черный вонючий дым; потом стали лопаться банки с маринадами — гулким тяжелым уханьем и брызгами желтого пламени, когда вспыхивал разлившийся уксус; как ребра в давке трещали в огне бочки. Ей казалось, что в столбе черного облака движется, корчась, человеческая фигура, где клубы зловонного дыма выпячивались человеческими органами, вывернутыми наружу в конвульсиях, отделяющимися друг от друга — кожа от кости, кость от тела, тело от души, и черная душа изрыгала вспышки пламени под всхлипывания, повизгивания, вопли; это был костер ее личной инквизиции, и в корчащихся клубах дыма Клио узнала Константина, изливающегося, как будто дьявольской серой, потоками маринада; она подвергала очищающему огню этого проклятого пришельца, который вопил и плевался уксусным ядом. И со зловещим шипением исчезал в облаках дыма.

С чувством выполненного долга она вернулась в кухню. Выбрала салатную миску побольше и стала нарезать туда собранные мухоморы, счищая лишь комья земли у корневищ. Потом залила нашинкованные поганки уксусом и подсолнечным маслом, не забыла посолить и поперчить эти кровавые ошметки и, усевшись поудобнее, стала сосредоточенно пожирать ядовитую смесь, стараясь тщательно пережевывать каж-

дый кусочек, как учили в детстве, лелея губами, языком и небом нестерпимо горький и щелочный привкус мухоморов. Ощущение внутреннего ожога постепенно распространялось от горла до груди и разливалось по всему телу, которое, казалось, начинало неметь, как раздувшийся нарыв. Или так ей мерещилось, когда, опустошив до дна миску с мухоморами, она аккуратно вытерла салфеткой губы и стала нетерпеливо, как на школьном уроке химии, ждать результатов действия грибного яда. В кухонном окне, как сквозь стекло колбы, все еще плыли клубы черного дыма от догорающих останков российского эксперимента. Чтобы как-то убить время (слово "убить" прозвучало в мозгу нелепым каламбуrom), она стала машинально листать злополучное издание Жан-Жака Руссо, точнее, академическое предисловие к книге, в которое она никогда до этого не удосуживалась заглянуть; глаза бежали по строкам, как будто увиденным из окна поезда, или же просто все плыло перед глазами от впитывающегося в кровь мухоморного яда:

"Подводя итог руссоистской идеологии, можно сказать, что, отказавшись от церковной доктрины католицизма, Жан-Жак Руссо отторг себя от тела Бога, воссоединение с которым даруется через ритуал причастия, и лишил себя права на ритуальную исповедь, дарующую искупление грехов через участие в мистерии страданий Спасителя. Исповедь религиозная, в центре которой — Бог, стала "Исповедью" литературной, в центре которой — сам Руссо. Яд вины, не искупленной в общинно-церковном ритуале причастия и исповеди, начинает накапливаться в его сознании, как в запечатанном сосуде греха. Отсюда — самоподозрительность и страх перед разоблачением, откуда один шаг до мании преследования. Это — мания преследования особого рода: другие, мол, могут догадаться, насколько я греховен, и использовать мои грехи в своих корыстных целях. Опережая собственных врагов, мнимых и действительных, Руссо неизбежно приступает к саморазоблачению, к исповеди перед человечеством. Это саморазоблачение принимает форму или буквального эксгибиционизма, как в сексуальных отклонениях его юношеских лет, или же

якобы бескомпромиссных признаний своих подлых поступков в годы зрелости. Поставив, однако, себя в центр мироздания, Руссо в этих признаниях отнюдь не озабочен судьбой жертв собственной подлости: ему в первую очередь важно доказать человечеству, что своим страданием он искупил свой неблагоприятный поступок — как, скажем, в истории со служанкой, которая была изгнана из дома по навету Руссо за совершенную им же самим кражу. "Я, может быть, и не лучше других, но я, по крайней мере, от других отличен", — пишет он в первых строках своей "Исповеди". Признание в собственных грехах, таким образом, становится самоцелью и подстегнуто верой в собственную уникальность".

Она пыталась вникнуть в смысл написанного, но не могла сосредоточиться: не из-за запутанности слов, плывущих перед глазами, а из-за того, что эти умозаключения она как будто давным-давно уже пережила на собственной шкуре, но только не может правильно сопоставить свое собственное внутреннее знание с чужими словами, твердящими то же самое. По-русски даже Rousseau выходит обрусевшим: Руссо. Неужели она — руссофобка? Она захлопнула книгу, потом открыла ее снова наугад:

"Однажды мы прогуливались по местности, покрытой густыми зарослями крушины. Я заметил, что ягоды на этих кустах созрели; ради любопытства попробовал одну-две из них, и, найдя ягоды довольно приятными, слегка кисловатыми на вкус, принялся срывать их и есть, чтобы утолить жажду. Достойный господин Бовье стоял рядом, не притрагиваясь к ягодам, не проронив ни единого слова. Один из сопровождающих приблизился к нам и, увидев, что я лакомлюсь этими ягодами, воскликнул: "Что вы делаете, месье?! Неужели вы не знаете, что это ядовитые ягоды!" — "Ядовитые?" — воскликнул я в полном удивлении. — "Конечно же, ядовитые! — услышал я в ответ, — это всем известно. Никому в голову не придет к ним притрагиваться!" — Я повернулся к господину Бовье и спросил его: "Почему вы меня об этом не предупредили?" — "О месье, — ответил тот, кланяясь уважительно, — я посчитал невежливым вмешиваться!"

Клио пыталась вспомнить, как выглядят ягоды крушины, но вспомнила лишь изречение Кости о том, что крушина хороша в качестве слабительного. Мнимые или действительные корчи в желудке напомнили ей о мухоморах, которые, казалось бы, выростали у нее под сердцем и лезли через горло наружу. Ее тошнило. Скорчившись от боли, она ринулась в ванную и, упав на колени перед унитазом, стала блевать. Она выблевывала все, что накопилось у нее внутри за все эти годы: славянофильство, вегетарианские идеи и радиоактивные отходы чая, пацифизм и снисходительность Марги, мухоморы и советская власть, Восток и Запад, "третий мир" и английское убожество. Она поднялась с колен, и вслепую нащупав ручку унитаза, спустила воду. Качаясь, она прошла к телефону и набрала номер скорой помощи.

10. СУД

Суд тянулся уже которую неделю, и Константину явно грозил серьезный тюремный срок за убийство. Присяжным оставалось решить — являлось ли это убийство преднамеренным или непреднамеренным.

Когда я натолкнулся на одно из первых газетных сообщений о судебном процессе, я, как помню, лишь злорадно усмехнулся: еще одна английская дура напоролась на российского фармазона, который наломал дров за границей. Но постепенно это полууголовное дело в суде Олд Бейли, с набившей оскомину "русской" изюминкой, стало перерастать из анекдота в лондонский скандал. Дело в том, что в ходе суда адвокат Константина во время перекрестного допроса свидетелей, в обращениях к судье и присяжным, с упорством англичанина выстраивал такой образ своего подопечного, история и обстоятельства жизни которого должны были в глазах присяжных снимать с него практически всякую ответственность за совершенное преступление. Все у адвоката шло в ход, и прежде всего советское происхождение обвиняемого. Тут у него была полная свобода, поскольку и судья, и присяжные,

да и сам адвокат обладали крайне смутным представлением о советской жизни, которое сводилось у них к некоему оперному, я бы сказал, сценарию, где советская армия, маршируя по Красной площади, преграждает путь иностранным корреспондентам, которые хотят прорваться к Сахарову, читающему Солженицына в самиздате, пока КГБ следит из космического спутника, как Барышников танцует на балетной сцене Нью-Йорка. Сирота, воспитанный в детдоме, где кормят тухлой человечинной, обвиняемый, согласно адвокатской легенде, жил в постоянном страхе перед лагерем и тюрьмой, мордобоем, пулей советских палачей; отсюда — постоянная настороженность, подозрительность к окружающим, готовность обороняться от врага внутреннего и внешнего. Эта жертва режима находит в себе смелость преодолеть угрозы властей и бюрократические препоны и выбраться за железный занавес. Но что ожидало его за железным занавесом? И тут адвокат начал бить по самому чувствительному для англичан месту, ощущаемому как национальный позор — традиционной британской ксенофобии. Без знания языка, без подходящей профессии — кто из нас не знает ужасов безработицы? — этот свободолюбивый чужестранец, политический беженец, мечтающий о свободе и демократии, столкнулся лицом к лицу с враждебным и холодным миром, не желающим протянуть ему руку помощи, глядящим на него, как на заграничный курьез, развивая в нем тем самым и без того преувеличенный инстинкт самосохранения, заставляющий его реагировать на мнимую угрозу с удвоенной агрессивностью. Куда обратиться такому человеку за поддержкой? И тут адвокат бросал грозный и укоризненный взгляд на Клио, Маргу и Антони, сидящих в зале суда; не жена ли, риторически вопрошал адвокат, должна сыграть эту жизненно важную роль в судьбе иммигранта в холодном и враждебном мире? Поддержать дружеским советом, домашним уютом, женской, в конце концов, лаской? Что же нашла у домашнего очага эта жертва советского режима и человеческого жестокосердия? И тут адвокат не упускал случая подчеркнуть, что представляла собой Клио и ее друзья. Собирище лесбиянок, гомосексуалистов, безот-

ветственных пацифистов и троцкистов! Умело проводя допрос свидетелей, среди которых в первую очередь шли Клио, Марга и Антони, он настойчиво проводил ту мысль, что политические взгляды участников этой печальной истории — непосредственный результат их морального разложения, их сексуальных склонностей, которые он неизменно называл извращенными, и эти склонности, в свою очередь, увязывались в речах адвоката с их политическими взглядами, которые он неизменно называл "троцкистскими", "экстремистскими" и вообще левацкими, давая понять, что обладатели этих взглядов если и не работали на советскую разведку впрямую, явно ей служили, сами того не подозревая.

Все это вызвало жуткий фурор в прессе. Посыпались протесты буквально со всех сторон. Организации по защите прав гомосексуалистов собирались подать в суд за распространение фашистской пропаганды; феминистские организации — за распространение клеветы и диффамацию. Короче говоря, фотографии Марги, склоняющейся над плачущей Клио (две лесбиянки!) или же Антони с рукой на плече у Колина в офисе (гомосексуалист, пытающийся завербовать своего любовника на службу советской разведке!) запестрели в "желтой" прессе, и каждый из нас волей-неволей оказался вовлеченным газетами в хронику "процесса века"; сообщения из зала суда были предметом обсуждений везде — в служебных буфетах, на улице, дома у телевизора. Не избежал этого газетного ажиотажа и я. Каково же было мое удивление, когда в один прекрасный день я получил письмо от этого самого адвоката; украшенное завитушками и виньетками герба его адвокатской конторы, с элегантными синтаксическими длиннотами, письмо извещало меня о том, что я приглашаюсь свидетелем защиты в качестве литературного эксперта. Не согласился бы я на предварительную встречу с обвиняемым и адвокатом обвиняемого для разъяснения крайне важной роли, которую сможет сыграть в ходе процесса мое появление на суде? Заинтригованный, я согласился. Впрочем, отказываться было бесполезно по той причине, что адвокат уже побеспокоился об издании соответствующего указа Ее Величества, согласно ко-

тому мне предписывалось предстать перед судом короны в качестве свидетеля, от чего в Англии, как известно, уклониться можно лишь в случае смерти.

Во время моего визита в тюрьму, где Константина держали в камере предварительного заключения, он поразил меня не только манерой речи и идеями — об этом чуть позже. Читая ежедневные газетные отчеты этого скандального процесса, занимавшего центральные полосы дешевой "желтой" прессы, я ожидал увидеть полуграмотного недоумка, классического российского увальня. Но вместо размягченной алкоголем рыхлой картофелины носа, добряцкой дряблости щек и залысин я увидел тонкогубого монстра, держащего каждую морщинку и жесткую складку лица под контролем; он был прямым родственником Рахметовых и базаровых, которые в советскую эпоху переквалифицировались из доморощенных зоологов, препарировавших лягушек, в инженеров человеческих душ. Поражали прежде всего очки в роговой оправе: очки каким-то образом не увязывались с тем Константином, о котором я слышался из газетных отчетов. Оправа очков еще больше подчеркивала ободок сероватых глаз с желтоватой, кошачьей цепкостью зрачков. В отличие от многих русских он не отводил взгляда: наоборот — следил и выжидал, когда собеседник не выдержит возникшей паузы и начнет бормотать что-нибудь компромиссное и извиняющееся. Сам же он не считал своим долгом разыгрывать фальшивое взаимопонимание. "Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит", — утверждал он всем своим видом.

Может быть, впечатление усугублялось тем, что в момент нашей встречи он находился на положении заключенного в одиночной камере. Это был, в сущности, выложенный белым кафелем карцер. Если бы не убогая тумбочка и кровать, камера была бы похожа на каменный мешок для буйных в психбольнице, или даже на аквариум, из которого выпустили воду. Лицемерно белеющий на двери список прав заключенного, включая право на свидание, переписку и продуктовые посылки, лишь официально регистрировал тот очевидный факт, что Константин был отделен от внешнего мира и, следова-

тельно, мог позволить себе с этим миром не считаться. Не считаться, в частности, со мной — хотя, казалось бы, это он, а не я был заинтересован в нашей встрече.

Такие люди меня пугали: за годы жизни в Англии я привык к некоему ритуалу отзывчивости со стороны собеседника, когда, услышав нечто, что кажется тебе неприемлемым, ты все же пытаешься понять чуждую точку зрения кивком головы в знак временного согласия, благожелательным "да, ну так что же" даешь возможность собеседнику сформулировать свою мысль не в атмосфере атаки с последующей блокадой, а свободно, не смущаясь; и только постепенно ты вводишь в разговор неизбежные "но" и "позвольте, но", исподволь стараясь переубедить противника. В глазах же Константина вечной мерзлотой застыла несговорчивость, раз и навсегда укоренившаяся уверенность, что переубеждать друг друга не в чем и каждый должен оставаться при своем мнении. В нем был железный и самодовольный пессимизм человека, уверенного, что он окружен подлецами и идиотами. Мне предоставлялся выбор: причислить себя или к лагерю подлецов, или записаться в идиоты. Меня, естественно, не прельщала ни та, ни другая альтернатива, и встреча с первых же минут показалась мне крайне тягостной.

"Чего этот недоумок под нож полез? Кому могло прийти в голову, что я Клио резать собираюсь? Кроме, конечно, самой Клио, — раздраженно рассуждал он, аккуратно прихлебывая ложечкой греческий йогурт-простоквашу из пластмассовой баночки. — Восстанавливает белые шарики в крови. А может, красные, не помню. Короче, очень укрепляет защитную систему организма. Хотите ложечку?"

Я терпеть не могу простоквашу. Я жалел о том, что поддался — в последний, надеюсь, раз — ложному чувству российской солидарности и согласился на встречу. Инициатива адвоката и моя роль в этом судебном процессе казались мне все более и более двусмысленными. В ходе слушания дела адвокат, как я уже говорил, пытался сварганить для присяжных некий суррогат Константина в виде брата Карамазова, пережившего войну и мир Толстого и мечтавшего жениться на од-

ной из трех сестер Чехова. Я же был призван адвокатом завизировать сложность российской души Константина и, в частности, его принадлежность к клану творческой интеллигенции, одержимой идеалами свободы и справедливости. С этой целью мне и был передан толстый манускрипт — полуроман, полуфилософский трактат: это произведение, с моей легкой руки рецензента, должно было служить на суде доказательством того, что его автор, Константин, не обычный подсудимый, а русский писатель-диссидент, чуть ли не друг и соратник Солженицына.

С наивностью иностранца, воспринимающего другую страну как некий, я бы сказал, оперный зритель, адвокат был готов обратиться с аналогичной просьбой и к самому Солженицыну: ему не приходило в голову, что этот противник каких-либо противозачаточных средств в постели и в публицистике — откажет. Кандидатура Солженицына не подходила ему из-за слишком известных политических взглядов этого советского фундаменталиста — взглядов, которые лишь подлили бы масла в огонь, разбушевавшийся вокруг этого процесса. И адвокат выбрал меня, наведя соответствующие справки. Я подходил ему по всем статьям: с одной стороны — считаюсь русским прозаиком, и потому могу судить о философско-литературных достоинствах трактата Константина, с другой стороны, известен западной публике по романам, переведенным по-французски и по-английски, без особого, нужно сказать, успеха. Кроме того, у меня было кое-какое имя в связи с тем, что я стал писать короткие эссе по-английски в одном престижном лондонском еженедельнике. Но, главное, я был политически нейтрален: ни одного интервью, где я бы высказал в открытую свои политические взгляды — у меня их, видимо, просто не было; итак, русский, крайне высокая репутация в избранных кругах, и при этом никаких крайностей (то есть умеренный консерватизм) в политике — идеальная для адвоката кандидатура. Он лишь просчитался в моих литературных предпочтениях, поскольку не удосужился прочесть ни единой строчки моих сочинений.

* * *

Выданное мне на прочтение толстенное сочинение в виде амбарной книги, с беззастенчивой простотой названное "Тоска по родине", отпугнуло меня прежде всего своей навязчиво опрошенной, я бы сказал, "придурочной" интонацией, некой приклатненностью под простачка из низов трудового народа, интонацией, крайне распространенной среди пишущих людей поколения 40-х годов, к которому принадлежал Константин. Они родились в ту эпоху, когда интеллигентная разговорная речь, речь дружеской светской пирушки окончательно исчезла из обихода, истребленная общим голосованием на собраниях с обязательной явкой. Носители и пропагандисты этой речи были арестованы, а участники столичных "кружков" ушли в словесное подполье. Те же, кто уцелел и продолжал говорить публично, вещали на партийной фене, на новом советском жаргоне: они считались предателями русской словесности. Таким образом, застрельщики прекрасной болтовни, чудной необязательности в разговоре, "плавкого ястребка на глубине очей" себя дискредитировали — и с точки зрения официальной, как враги народа, и с точки зрения подпольной — как продажный класс российского населения, который и был зачинателем и активистом кровавой революции. Так, в полуофициальной словесности и возникла необходимость в новом герое, новом советском разговорном типе: этаком советском придурке, обязательно с военным прошлым (что делало его лояльным, с точки зрения, властей), но одновременно и с крестьянской жилкой народного страдальца, натерпевшегося от советской бюрократии, с первобытной ненавистью к революционным "нехристям" протаскивающего антисоветскую мудрость между строк. И главное — говорящего через подставных лиц, чтобы всегда оставалась возможность отказаться от собственных слов. Приклатняющегося, как я сказал, под чужую речь. Не разговаривающего, а излагающего байки — как документальные свидетельства, — не от себя, а от имени и по поручению, как некий юродивый от литературы.

Подобные герои склонны игнорировать свою эпоху как нечто временное, и если и говорят о ней, то исключительно

через исторические аналогии с другими эпохами жизни человечества, загоняя ясную мысль о собственной стране в дремучий лес параллелей и меридианов исторической географии нашей планеты вообще. Неудивительно поэтому, что своего героя Константин определил в историки — неясного философского исповедания, но обладающего зато неистощимой способностью вглядываться сквозь призму эпох — призму, незамутненную политической предвзятостью, свойственной тем, кто учился политграмоте через пребывание в тюремном застенке или длительные собеседования с органами безопасности. Герой Константина был выше этого. Оставаясь советским гражданином, он при этом женат на англичанке, хотя живет с любовницей. Для этого профессора не существует ни железного занавеса, ни отдела виз и разрешений. Да и советской власти в ее солженицынском понимании как лагерного режима тоже не существует. Существует Россия, конечно, со своими неповторимыми особенностями: традициями и религией, историей и политическими переворотами, но она — лишь одна из многих стран мира. И вот, лишь попав в Англию, он переоткрывает для себя эту самую Россию как нечто уникальное, трагическое, мессианское и избранное. Через "тоску по родине", через науку расставанья и пытку расстоянием он открывает эту Россию вслед за героем своего исторического исследования.

Исторический этот профессор, находясь в Англии, изучает биографию крепостного восемнадцатого века, некоего Апелеса Зяблова. Этот самый Апелес, крепостной крестьянин известного самодура боярина Струйского (прославившегося пресловутой домашней пыточной камерой в подвалах своего особняка, оборудованной по последнему слову маркиз-де-садовской техники той эпохи), поразил своего барина уникальными кулинарными способностями, врожденным даром шеф-повара, открытым совершенно случайно, когда боярин Струйский, зайдя к Апелесу Зяблову в избу, чтоб высечь своего крепостного плетью (без всякой на то причины, исключительно ради порядка, руку поразмять), обнаружил того за жареньем клубней американской диковинки под названием

"картофель". Этим картофелем покойная боярыня Струйская, наложница императора Петра Первого, отравила себе желудок, употребив для варки супа ботву этих экзотических плодов из Вест Индии. Крепостной же Зяблов эти самые клубни, разрезанные на равные доли, жарил на печи с коровьим маслом, и настоятельно приглашал барина отведать с ним басурманского рецепта. Боярин Струйский, при всей своей строгости, был ценителем искусств и разных экспериментов, и, хотя и высек Апелеса за потенциальную порчу российского крепостного желудка американскими новшествами и за растрату коровьего масла, картофель, тем не менее, съел с удовольствием, и с той поры назначил Апелеса Зяблова своим шеф-поваром, особенно по случаю обедов с заезжими иностранцами в своем поместье. Иностранные гости не уставали хвалить нового "кука", услаждающего их кулинарными шедеврами различных заморских кухонь. Однако самому боярину Струйскому этот гений заграничных похлебок был ни к чему: при всей своей изысканности Струйский предпочитал к столу гречневую кашу и кислые щи, а то и просто рюмку водки с соленым огурцом, держась, порой на этой диете целыми неделями, если не было гостей, а гости случались не часто. Так что при первой же возможности боярин Струйский сторговал своего шеф-повара английскому посланнику взамен на старинный чубук с фунтом турецкого табаку впридачу и считал еще, что остался в выигрыше.

Английский же посол увез крепостного Зяблова в Лондон, где тому была уготовлена судьбой головокружительная карьера. Обеды у посла стали знамениты на весь Лондон, слух о российском славном поваре Апелесе прокатился по всему Альбиону, его рецептам подражали все аристократические дома, дошло до того, что в конце концов он удостоился чести на один вечер стать шеф-поваром в королевском Букенгемском дворце. Королевским указом ему было пожаловано британское подданство с домом на берегу Темзы, о нем писали газеты и его руки добивались самые богатые английские вдовы-купчихи. Чего больше нужно человеку, которого и за человека-то в России не считали, а за мертвую душу? Однако Апеле-

са вскоре стали все чаще замечать в лондонских тавернах, где он, по слухам, напившись до чертиков, закусывал эль с кубинским ромом сырой картофельной ботвой. А в лондонской "Таймс" год спустя появилось сообщение о том, что "бывший русский раб, а ныне подданный британской короны Апелес Зяблофф доставлен был в королевский госпиталь со смертельными желудочными судорогами прямо в голом виде из турецких бань, где, по свидетельству очевидцев, он, забравшись в шайку и исхлестав себя березовым веником до кровавых шрамов, выпил затем грязную воду из шайки залпом — вместе с мыльными смывками и кровью, закусив эту прокипяченную смесь березовым веником, в этой же шайке вымоченным". Дотошливый корреспондент лондонской газеты пробрался к Зяблову в больничную палату, где тот объяснил свой поступок тоской по родине и произнес афоризм, который долго повторял после этого весь лондонский свет, не понимая, конечно, истинного смысла сказанного: "И здесь рыба, и там — рыба. Все мы рыбы — рабы. Не следует, однако, кастрюлю с ухой путать с аквариумом". Лишь герой Константина, советский профессор истории, прослеживающий судьбу Зяблова в архивах библиотеки Британского музея, понимает, на что намекал Апелес своим афоризмом: русский человек, привыкший вариться в ухе российской действительности, не может выжить в обществе хладнокровных рыб из аквариума западной цивилизации. Этот бывший крепостной, ставший вольным британским поваром, бросает и дом на Темзе, и вдову-купчиху и бежит обратно в Россию, обратно в рабство, к самодуру и садисту — своему барину; ничего, кроме деревенского самогону с соленым огурцом из бочки с той поры не потребляет. Жизнь он покончил самоубийством, когда боярин Струйский приказал ему приготовить рыбу-лабраданс по французскому рецепту по случаю приезда в поместье нового английского посланника. Апелес сварил вместо этой рыбы-лабраданс русскую уху в огромном котле на двадцать ведер и бросился затем в кипящий котел вниз головой. Можете себе представить шок английского дипломата, подцепившего на вилку голову Апелеса, глянувшего на гос-

тя со скорбной немотой пустыми глазницами вываренного черепа. Этот обед ознаменовал резкое ухудшение отношений между британской короной и российским престолом.

"Я исхожу из головного западничества и через желудок прихожу к нутряному славянофильству", — с ироничной миной комментировал свое эпохальное произведение Константин. Я же, пересказывая макабрические перипетии его псевдоисторических персонажей, тоже сбиваюсь на пародийную ноту: не столько из-за нелепой напыщенности и искусственности истории о крепостном гении кулинарии Апелесе, сколько из-за навязчиво многозначительной манеры поведения главного героя книги — профессора истории, как бы авторского двойника.

Но чем больше я вслушивался в разговоры Константина во время нашей "тюремной" встречи, тем запутанней становилась фигура советского профессора из его трактата. Потому что, как ржавчина сквозь лоснящуюся масляную краску, проступала линия какого-то окончательного одиночества, отделенности, чуждости не только Западу, где герой-профессор очутился как посланец российской истории, но и физиологическая чуждость по отношению к самой России, советской, конечно, России. Его "тоска по родине" — это болезнь, рак, чума, проказа, патологическое состояние не только потому, что эта самая ностальгия поглощает все его остальные чувства, мысли и поступки, а потому что непонятно, есть ли у него вообще родина? И в этом смысле его ностальгия — мания, шизофрения, помешанность на чем-то таком, чего не существует, но одновременно она и центр всех его мыслей. И как человек, лишенный какого-либо центра, лишенный быта и образа жизни, ежедневного распорядка, он начинает винить окружающих в отсутствии того, чего у него самого нет за душой. Этот профессор с пародийной фамилией Похлебкин, исследующий биографию крепостного кулинара, в отличие от героя своих изысканий, лишен барина; он раб без господина, без царя в голове, без барина в крепостной душе. У его Апелеса хоть было по чему тосковать: по курной избе и плетям, по какому-то устоявшемуся, хоть и крепостному быту. Совет-

ский же Похлебкин, которому некуда возвращаться, страдает, следовательно, не столько от ностальгии, не столько от тоски по родине, сколько по отсутствию этой тоски, по отсутствию той, пусть болезненной, но цельности, которая была у крепостного повара Апелеса. Полный самоотвращения, он придумывает поводы для отвращения вне себя. С угрюмой презрительной усмешкой он рассуждает о пошлом материализме и мещанской сущности западной цивилизации, и в то же время его раздражает всякая неполадка в хорошо отлаженной машине бытового комфорта; он бесится от английской преувеличенной вежливости и сдержанности в отношениях друг с другом, и в то же время он выходит из себя, когда его любовница, переводчица при ООН, пытается с ним объясниться: в его глазах она становится чуть ли не нимфоманкой, своей душевной настырностью разрушающей его хрупкий интимный внутренний мир.

Короче, в этом профессоре Похлебкине чувствовался чуть ли не самоанализ Константина, и все это тянуло бы на вполне сносный роман, если бы не перемежалось бесконечными философскими отступлениями и пересоленной символикой кулинарных рецептов, которые герой изучает в связи с биографией крепостного Апелеса. Эта навязчивая кулинарная символика должествует подчеркнуть фундаментальные различия в восприятии мира в желудочном, то есть, согласно профессору, в религиозно-почвенном смысле, между Востоком и Западом. Герой Константина, естественно, пессимист, то есть считает, что роковая пропасть в этом понимании никогда не будет преодолена и что западный человек никогда не сможет понять, в чем прелесть вонючей воблы, точно так же, как русский человек не станет есть лягушек; то есть, мол, Пушкин останется непонятным для иностранцев точно так же, как Данте навсегда останется восхитительной загадкой для русских. Сближение двух культур, короче, совершенно безнадежное дело. Непонятно только, что тогда делал этот профессор Похлебкин на туманном Альбионе? А он, оказывается, выращивал в себе любовь к родине; не поверхностную, славянофильскую или западническую, а ту, неискоренимую лю-

бовь, которая чем безнадежнее, тем крепче, и, чем крепче, тем фанатичнее. "Нам ничего не остается, как любить собственную безнадежную участь", — рассуждает он во время своих одиноких прогулок по картофельному полю — его любимому географическому местопребыванию; на краю картофельного поля, где он восседает, справляя нужду, ему мерещится российская деревенская околица, жидкий лесок на горизонте в дымке вечернего тумана и сырые крыши деревянных покосившихся изб. Тут он и придумывает притчу о картошке. Как работник долго пыхтел, тянул за ботву картофель. Наконец вытащил на свет единственный картофельный клубень; клубень и спрашивает работника: "Зачем ты меня на свет вытащил?" А работник отвечает: "Чтобы съесть!" А клубень ему: "А я-то думал, что ты меня вытащил на свет, потому что мне в земле было темно и одиноко, и я там гнил".

Само собой разумеется, что эта притча предназначена автором трактата для тех, кто жалуется на одиночество, темное и гнилое существование в своей родной земле и тщится вылезти наружу, эмигрировать к свету Запада, который, как и следовало ожидать, сожрет российского человека прямо с картофельной ботвой, которой с тоски по родине закусывал крепостной Апелес эль с ромом (эль он называл елью) в лондонских тавернах.

В герое раздражала заданность: он был выдуман Константином с явными и очевидными намерениями, выходящими за рамки повествования. Поскольку все двусмысленные вопросы (скажем, как вообще этому советскому профессору позволяют жить и рассуждать так вольно и там и здесь с английской женой и любовницей впридачу?) отметались, авторская интонация поражала своей сбивчивостью, уступчивостью, с заискиванием перед читателем, расчетом на его понимание, как будто автор располагает бессрочным кредитом: мол, обещаю в будущем, что концы сойдутся, а пока потерпите! От этого повествование перемежалось постоянными поправками, поправимостями, враждебными себе описками, стилистическими огрехами; все в этом герое было неважно, все было "как бы", все было "вдруг", "по стран-

ному совпадению"; все тут было случайно, и в то же время подчинено конечной цели и поэтому в промежутке неважно. Это был разговор двурушника (меж Западом и Востоком), которого бросает то в жар, то в холод, и все поддельный, пытающегося убедить вас, читателя, в конечных благородных намерениях своего двурушничества: герой и, как я подозревал, Константин, тайно склонялись к некой примитивной форме анархизма, безвластия, почвенности, выращиванию картошки на околице жизни. Это был анархизм как неприятие какого-либо душевного распорядка, иерархии, образа жизни. Недаром этот профессор сближается в Англии лишь с единственным из жителей западного мира — доморощенным анархистом. Этот анархист продержал свою жену в тюремном, можно сказать, режиме четыре года: когда он узнал, что жена его разлюбила и хочет уйти из дома, он навесил на себя взрывчатку и обвязал себя и жену проволокой так, что если кто-либо из них отойдет от другого на расстояние дальше десяти метров, проволока натянется, бомба взорвется, и оба взлетят на воздух. Это был моральный шантаж. Поразительно, что этот моральный шантаж жена терпеливо сносила. И в конце концов полюбила тюремщика-мужа. Как-то свыклась. Узнала его лучше за годы тюремного пребывания с ним бок о бок. И эта любовь понятна герою Константина. И Константин нам дает понять, что именно такова любовь советского человека к своей родине-тюрьме. Однако хитроумие Константина шло гораздо дальше.

Дело в том, что, прожив со своей женой бок о бок четыре года в тюремном режиме, тюремщик из-за этой истории разлюбил свою жену. Он стал презирать ее, как всякий тюремщик презирает своего заключенного. Но одновременно и жалеет. И жалея свою жену, тюремщик-муж решил не отвязывать взрывчатку — иначе у него появилась бы возможность самому уйти из дома. Так они и прожили, ходя на проволоке, пока жена не скончалась. Продукты им носили из продуктовой лавки по телефонному звонку. (В России такой сюжет невозможен, оба сдохли бы от голода, не успев ни полюбить, ни разлюбить друг друга.) Герой Константина знакомится с

этим анархистом, когда тот уже вдовец. Соседи по району считают его местным сумасшедшим, но профессор русской истории, узнав его английскую историю, сближается со вдовцом и оба проводят долгие вечера в пивной, обсуждая мироздание и вопросы международной политики. Явно имея в виду Клио и ее друзей пацифистов, Константин вкладывает в уста престарелого анархиста следующее рассуждение.

"Атомная бомба — орудие массового уничтожения, появившееся наши два мира — социализма и капитализма, Востока и Запада. Эта повязанность и заставляет нас любить друг друга!" И старый анархист, улыбаясь в усы, поднимает тост за долголетие атомной бомбы.

"Наивный человек, — отвечает ему герой Константина, профессор Похлебкин. — Нас сплотит оружие, мощнее атомной бомбы, оружие массового уничтожения, которое нас обоих, наши два мира, плотно связывает: двоемыслие!" И профессор Похлебкин пускается в следующую цепочку поэтических, я бы сказал, силлогизмов: Запад, который одержим материализмом, наконец-то доискался до окончательной идеи расщепления материи — расщепил атом и ядро и в результате создал страшнейшее оружие, ядерную бомбу; однако в своей одержимости материальным аспектом мироздания Запад проморгал духовную, душевную и мыслительную сторону бытия, над которой бились лишенные материального благосостояния российские умы; русский человек, склонный к общинной, коммунальной жизни, к общности и духовному равенству, добился, в конце концов, самого невозможного, немыслимого — расщепления мысли и духа на общинном, государственном уровне. Советская власть, утверждает профессор, есть материализованная, воплощенная на земле, здесь, сейчас, идея двоемыслия, зачатки которой мы находим и в викторианстве, но лишь советская власть добилась, казалось бы, невероятного: когда двоемыслие, расщепленная совесть и лояльность как духовный и душевный идеал стали ежедневным образом жизни, так сказать, онтологией советской экзистенции, тогда неверие в основы марксизма-ленинизма-сталинизма (как, скажем, неверие в воскрешение в иудео-

христианстве) при верности партии (церкви) с ее марксистско-ленинскими лозунгами становится необходимым и достаточным условием принадлежности к советской религии. Эта воплощенная двойственность, закаленная в годы чисток, людоедства, войн внешних и внутренних, превращает каждого советского человека в самое мощное оружие на свете — в расщепленное ядро, некий эквивалент ядерной бомбы, поражающей не мир материи, а мир духа. А все эти атомные бомбы и ядерные ракеты, позаимствованные, конечно же, у Запада и повешанные вокруг государственных границ, для советской власти не более чем устрашающие бубенцы у шамана — ритуальные причиндалы, которые наивный Запад воспринимает как символы и тотемы страха и разрушения; и советская власть гремит этими устрашающими бубенцами исключительно для того, чтобы Запад испугался и прислушался — к советской власти, которой только и надо, чтобы к ней стали прислушиваться, чтобы с ней стали беседовать откровенно, чтобы разговорились, обнажили свою душу, зачатки собственной раздвоенности — а ведь этой раздвоенности и школьного двоемыслия хватает и здесь. Везде, где есть, хотя бы в зачаточном состоянии, ложное чувство вины, ощущение собственной греховности, трещинка в лояльности собственному правительству, государственному строю, народу (оправданная или нет, неважно), советская власть тут как тут, утверждает, как радиоактивное облако, в сердцах и мыслях, расщепляя и обобществляя, стараясь весь земной шар превратить в одну гипербомбу. Тогда и наступит мир — вечный и нерушимый, мир всеобщего двоемыслия, устраняющего мысль как таковую, и с ней — войны. "Сочетание атомной бомбы и советской власти, — заключает профессор, — есть единственно возможная гармония антиматерии и антидуха. А кто может устоять перед гармонией такого масштаба?"

* * *

"Но для подобного массового расщепления мозгов, по вашей ядерной терминологии, нужна цепная реакция, тяжелая масса нужна, сплоченность. То есть, тяжелые цепи нужны, на-

ручники, — пытался я откаламбуриться от цепных реакций Константина. — Но в Советском Союзе нехватка не только продуктов, но и цепей. Колючую проволоку и ту экспортируют. Но на Западе не производят наручников в количестве, достаточном для экспорта цепной реакции”.

“А вы, значит, на диссидентов надеетесь? — криво усмехнулся Константин. — Надеетесь, то есть, по-нашему, на инакомыслящих. Но на то он и инакомыслящий, чтобы мыслить инако. То есть, в нашем случае, когда кругом царит двоемыслие, он тянется в знак протеста к единомыслию, к единой правде. Начинает, как Солженицын, строить домашние крепости и возводить алтари за колючей проволокой посреди вермонтских холмов; или, как тот же Антони морочить себе и другим голову идеей пацифизма; или, как моя дура Нуклия, отправляются на поклон в Москву, как в новую Мекку. Но, в сущности, всем им наплевать: и на православие, и на атомную бомбу и даже жопа для них, как для гомика Антони, не конечная цель. Потому что инакомыслие в корне своем в той же степени от слова “инако”, как и от слова “инок”, то есть, в сущности, главная идея, как у монаха и отшельника, не замараться соучастием. Не запятнать себя злыми деяниями. И тут советская идеология тут как тут с готовым рационализаторским предложением на руках: “все зло мы возьмем на себя!”

“Взамен на что?”

“А вы сидите и не чирикайте. И больше ничего от вас не требуется. Все зло мы возьмем на себя, а вы, инакомыслящие, занимайтесь своими инакомыслящими разговорами, но не публично, а между собой, в своих отдельных нишах спиритуального Пантеона. Обсуждайте юродство на Руси и синкопы у Мандельштама, византийскую икону и сибирских шаманов, висоцкую хрипоту и окуджавскую грусть — только не лезьте со своими идеями в аппарат управления. Не лезьте к власти, власть — зло, зло оставьте нам. Вы будете невинными, незапятнанными и одновременно духовно растущими. Как картофель в черноземе, с эдакой чистой розовой шкуркой. И уверяю вас, мы вас не тронем: продолжайте гнить в

полной темноте, созревая внутренним светом. Компромисс был найден. И никаких, уверяю вас, цепей не нужно для сплоченности. Цепи нужны были Сталину, потому что Сталину нужна была вера и правда, ему нужно было стальное единомыслие. Даже Хрущев верил еще в ленинские нормы, как и интеллигенция той поры — в социализм с человеческим лицом. Думали, что доказывают друг другу свою правоту. А теперь и так все ясно. И верности и преданности ни от кого не требуется. Полное разделение труда. Даже сажать не надо. Весь картофель давно посажен. А кто не прижился на родной почве — давно эмигрировал. Тоже, отстаивая идеалы либерализма и отказываясь от соучастия. Но я вам скажу: вся эта эмиграция — еще одна попытка показать кукиш советской власти, и больше ничего. Последняя попытка доказать, что не вся власть у Политбюро, что, мол, у меня, мол, есть тоже власть: хлопнуть дверью. Ну и хлопнули, а дальше что? И здесь, как выяснилось, тоже не слишком разгуляешься: и здесь соучастие, в других, правда, преступлениях, и здесь, между прочим, свое двоемыслие. То есть, опять же, своя советская власть в зачаточном масштабе. И масштабы, между прочим, растут. И чтобы в этом убедиться, эмигрировать вовсе и не надо было. Умные люди, как сидели, окопавшись в родной культуре, так и сидят и не чирикают. Потому что знают, что битва с советским двоемыслием проиграна, и пока более мощного оружия, чем расщепление мыслительного ядра, не придумано”.

“Вы рассуждаете так, как будто вы сами не эмигрант, а представитель советской стороны на переговорах о прекращении гонки вооружений”, — пытался я иронизировать.

“Я? Эмигрант? Какой же я эмигрант, когда у меня до сих пор советский паспорт в кармане? Я с Западом в состоянии развода, а если и был женат, то фиктивно. В то время как вы — вечный муж”.

До этого момента разговор шел на равных. Точнее, я воспринимал этот разговор как еще один нелепый эмигрантский спор на вечные темы: что делать и кто виноват? И рассуждение Константина про ядерную бомбу и расщепление мысли

я поначалу посчитал за очередной бредок — старинный плод российского умствования, которое не может обойтись без теорий о мировом заговоре, вселенской конспирации и т.д. и т.п. В лондонском полицейском участке, в камере предварительного заключения, где держат алкоголиков и набедокуривших клошаров, этот распоясавшийся пророк тотального двоемыслия в какой-то момент показался мне заурядным шизофреником, графоманом, свихнувшимся на собственной непризнанности. Наличие британского паспорта и долгий опыт западной жизни создавал у меня иллюзию собственной нормальности, стабильности, некоего душевного комфорта, удобного кресла беспристрастного судьи и, облокотившись на спинку этого кресла, — на собственное заслуженное прошлое, я был уже готов поплыть: в забытый бредок бесконечного российского трепа, не имеющего отношения ни к чему — точнее, не имеющего отношения к ежедневному выживанию, с попыткой сохранить человеческое достоинство, из которого здесь и вырастает вся высокая философия и даже низкопробное искусство. И вдруг одной фразой Константин провел между нами магическую черту: советскую государственно-паспортную границу, и все мытарство, бред и морока эмиграции, головокружительного прыжка через железный занавес вернулись вдруг как неприятный гость, от которого вроде бы избавился. Как бы убедительно ни говорил этот фиктивный муж о западной цивилизации про неизбежность победы самого мощного на свете ядерного оружия — коммунизма — эта победа еще не наступила, слава Богу, и пока она не наступила и мы не слились в единстве двоемыслия, все, что ни говорил Константин не было ни шуткой, ни бредом: он отстаивал свою принадлежность к миру, с которым я был в скандальном разводе и смерти которого желал всей душой.

"И давно вы считаете себя на Западе, как вы сказали, фиктивным мужем?" — сухо спросил я, пытаясь свернуть затянувшийся разговор.

"Как — давно? — искренне удивился Константин. — С тех пор, как связался с Клио. То есть, на суде этого, конечно, не упоминалось — пойдя докажи! — Но, по-моему, каждому ежу

ясно: наш брак был фиктивным. Каким он еще мог быть? Вы что, воображаете, что я серьезно мог влюбиться в эту дочь Альбиона?! Вы знаете, как ее в Москве называли? Моченая крыса! С ее жидкими волосиками, челочка эта, всегда суетится в гостях или, наоборот, притаится в углу и чего-то выжидает. Но уж если откроет рот, — всем приходилось прикрывать свой ладошкой: чтобы скрыть улыбку. Все эти разговорные словечки вроде "вообще" и "в смысле" — заучила наизусть, а сует куда ни попадя. В нашей компании, если у человека рязанский акцент — и того со скрипом принимают, а тут что ни фраза — как замороженная блевотина. Ко мне друзья перестали ходить. А ей хоть бы хны. Я ей говорю: да изъясняйся ты лучше по-английски, хоть непонятно, но не так противно. А она в ответ свое любимое слово: "глупый!" Складывает свои губы в трубочку и растягивает, сюсюкая: "глю-ю-пий". Тьфу! Когда я слышал это самое "глюпий", мне хотелось вдарить ее по голове бутылкой. "Бутилькой" в ее произношении".

"Как вы вообще умудрились с ней сойтись при таком отношении друг к другу?" — Я был ошеломлен неподдельным бешенством и отвращением в голосе Константина: в нем не осталось и следа от холодной пронизательности судьи всемирно-русской истории.

"Как умудрился? А вы у Марги спросите. Кто Нуклию в Москву привез? Кто мне ее навязал? Кто убеждал меня в том, что Клио — идеальный вариант для фиктивного брака? Марга! Переженишься, говорит, фиктивно, с Клио, переедешь в Англию, а там и подумаем о перерывах. Морочила мне голову, что не может в данный момент портить карьеру этому гомику".

"Кто морочил голову? Какому гомику?" — Но Константин как будто не слышал моего вопроса.

"Если бы не этот идиот, занимающийся поисками социализма с человеческим лицом. Жопу он с человеческим лицом ищет, педераст! А я, как дурак, со своим русским всепониманием, принимал за чистую монету все аргументы Марги: мол, Антони ездит в Москву с англо-советскими договорами,

замешаны крупные деньги, она ему обещала не подавать на развод, пока не подписаны контракты — развод, мол, повредит его репутации, пойдут слухи о мальчиках, чего она только ни говорила. В конце концов, в наших же с ней, мол, интересах, чтобы после развода с Антони и раздела имущества, ей, то есть нам с ней, досталось побольше денег. В общем, Клио, мол, идеальный вариант, пока суд да дело. А чем все это закончилось? Вот именно: судом и уголовным делом". — Он нервно прихлебнул простокваши, поморщился, сплюнул на пол и бросил, не глядя, пластмассовую баночку в сторону помойного ведра в углу камеры.

"Клио, как я понимаю, вы забыли поставить в известность о ваших с Маргой планах?" — спросил я в наступившей паузе.

"А вы на меня не смотрите так хитро и укоризненно. Побывали бы вы в моей московской шкуре и поели бы картофельной ботвы с мое — любой бы вариант сгодился! Я же сказал: идея принадлежала Марге. Я лишь выполнял, так сказать, руководящие указания. Клио, так Клио! Еще одна англичанка из тех, кто любит поселиться среди туземцев, натянуть тюрбан какой-нибудь в виде национального маскарада и воображать, что спасает тем самым человечество. Воображала себя русской народоволкой. Не понимала, дура, что в Москве денег не считают, потому что их просто нет, а обнимаются, оттого что мороз за окном и пойти некуда. Мне ее даже вначале жалко было. Кто мог подумать, что она такая дура и не знает, что я с Маргой сплю? У нее что — глаз нет? Я-то считал, что ей насчет фиктивности нашего брака все прекрасно известно, только она об этом помалкивает: и чтобы у фореин офиса не вызывать подозрений и вообще, чего дружескую связь портить лишними разговорами? Кто бы мог подумать, что дело зайдет так далеко, да еще на чужой территории? Я, между прочим, пытался ей дать понять всеми способами, что мужа из меня не выйдет. Пытался отвадить ее от себя и так и сяк, и самодурством и чудачеством, и воблой вонючей и лопаткой по-чувашски — да вы знаете! Вцепилась в меня — и ни в какую! И вот тебе, здрасьте: этот "инцидент" с недоумком. Чего он под нож полез? — Константин помедлил. — Слыхали,

кстати, что Клио из-за смерти этого ублюдка мухоморами травилась? Какие-то у них были роковые отношения, она его чуть ли не усыновлять собиралась. Все эти незаконные дети — типично английская история. У каждого англичанина, как я понял, есть или тайная страстишка или роковой секрет, но при этом нам, то есть людям посторонним, вменяется чуть ли не в обязанность к этим тайнам и секретам относиться благоговейно, как будто нас об этих секретах поставили заранее в известность. Короче, Клио теперь со мной иначе как через адвоката не разговаривает. Подает на развод. Дождался, наконец. Антони больше в Москву не ездит: Англия объявила торговый бойкот. Чего, казалось бы, Марге еще нужно? Как бы не так! Даже не потрудились явиться в полицию в качестве поручителя, чтоб меня выпустили под денежный залог, на поруки, так сказать. Пожалела денег? Да у нее куры денег не клюют. Нет, дело не в этом: испугалась за свою репутацию! — и безнадежным скептическим жестом Константин махнул рукой в сторону железной двери камеры, где в рамочке под стеклом висели права и обязанности заключенного. — Поразительно, как легко этим свободомыслящим скурвиться. Этой Марге ничего не стоило взять и махнуть в Китай на неделю для изучения маоистских лозунгов, а еще через неделю — ночевать в палатке палестинца в Бейруте — все, естественно, не без сексуальных эскапад под залпы артобстрела, цимбалы китайских аппаратчиков или там барабанную дробь парадов на Красной площади перманентной революции. Бесстрашная, можно сказать, женщина! Но стоило этому социально отверженному недоумку напороться на нож, вообразив меня убийцей, и тут же у нее сработало классовое чутье. Решила, что замешанность в этой истории повредит ее репутации. Трахаться на грязной лестнице с диссидентами — это, значит, школа коммунизма или чего там, борьба с бумажным тигром империализма и вообще с буржуазными предрассудками, мешанством и тому подобное. Но как только дело дошло до ее репутации среди общих знакомых, — она тут же строит из себя целку. Как, мол, вульгарно: суд, нелепое убийство, присяжные заседатели, оплата судебных издержек — все это, мол, скучно, три-

виально, вульгарно и пошло. А на самом деле просто не хотела ввязываться, когда ясно, что я уже — не предмет, которым можно размахивать, как знаменем новых идей, в своем кругу, а потом сделать из этого знамени еще одну модную юбку и таскаться по лондонским снобам. Короче говоря, как только завертелся этот суд, я утерял для нее прелесть новизны и превратился в пошлый скандал. Я давно разгадал их диалектику: вся эта пресловутая свобода и западная демократия хороша только тогда, когда есть перед кем поизгиляться. Все эти леваки повторяют, в общем, Чаадаева: "Истина дороже родины". Оно, конечно, так, только для подобной чаадаевщины надо прежде всего иметь родину".

На моих глазах этот беззастенчиво обманутый женщинами Самсон, остриженный под машинку тюремным парикмахером, снова вспомнил о Боге, родине и избранности:

"Не знаю, как вы тут сами крутитесь, а до меня лично давно дошло: наш человек за границей иначе как придурком не воспринимается. По совершенно понятным причинам: как иначе воспринимать заезжего иностранца, если все в нем — от морды до одежды — одинаково нелепо? Не говоря уже — вот именно — не говоря о языке: все эти мэканья и бэканья, это животное мычание с почесыванием головы и с подмигиваньем в расчете на взаимопонимание. Я ведь тоже, сидя там в Москве думал: свои не поняли, потому что в тюрьме выросли, поймут чужие на свободе. А какое может быть тут свободное взаимопонимание, когда твоя речь воспринимается, как заиканье трехлетнего дебила, как мычание дефективного, а по мысли не идет дальше изречений дикаря, сбжавшего с необитаемого острова — за какой-то туземный остров здесь и держат Россию. Да что наши попытки изречь мысли на басурманском языке, когда даже обрусевшая Клио всю дорогу считала меня свихнувшимся на кулинарии придурком. До сих пор думает, что я с российской голодухи рехнулся на экзотических рецептах. Какая ирония судьбы: ты решаешь мировые загадки, а тебя считают обыкновенным психопатом. И даже пытаются лечить. Я для них: фунгофил! Ей в голову не могло прийти, что я сочиняю философский роман, трактат — а не ку-

линарную книгу! А? Вот и крутись тут шутком гороховым на кухне, пока в гостиной долдонят о разделении мира на капитализм и социализм, тоталитаризм и демократию".

"А вы, как я понял, предпочитаете делить мир на кофейно-чайные зоны?"

"А вы, как я понял, предпочитаете делать вид, что советская власть с Марса спустилась и захватила с помощью большевистских троек, вроде марсианских треножников, свободолюбивый русский народ? Я, конечно, несколько перегнул про самовар и чайно-кофейные зоны, но нечего делать вид, что лагерная зона кончается на советской государственной границе. И здесь своих большевиков хватает — под другой кличкой. Только у нас все честно и открыто: однопартийная система, абсолютизм коммунистов, живи себе потихоньку и не чирикай, а не хочешь — дохни в лагере. А тут рассуждают про свободу слова и передвижения, а сами сидят по домухам и молчат в тряпочку, не лучше советских, потому что диктуют как жить, все те же люди наверху, только называется это не тоталитаризмом, а демократией. Да никакой разницы между Востоком и Западом в сущности и нет: я тут даже согласен со здешними леваками. Только они борются за светлое будущее, а я считаю, что бороться надо за ускорение советизации всего мира — исторически неизбежной, между прочим. И должен сказать, советская власть не хуже всякой другой. Конечно, были перегибы, конечно, сейчас травят разных там людишек, а где их не травят? Но, в принципе, чем народные советы отличаются от английского парламента? Вот я читал разные тут выступления Политбюро эмиграции: журнал "Вече", Солженицына, максимовский пулемет слушал. И скажу вам: они же счета сводят с партийным руководством — у них с советской властью лишь личные разногласия. Да и сажали бы они тех же, кого сейчас в околоток тянут. Все их в принципе там устраивает: члены Политбюро даже на возрождение православной церкви благожелательно посматривают, если только, конечно, в коалиции с партийным самодержавием. Им бы еще один шажок сделать: согласиться с тем, что советская власть — не от дьявола, а законная и рукоположенная, и все дело в

шляпе! Солженицына встретят на белом коне посреди Красной площади, Политбюро будет махать с мавзолея ручкой, Максимова поручат заведовать салютом, а Синявского, как выродка, в клетке будут показывать на посмешище народу. Свободолюбивый русский народ советскую власть принял всем сердцем, и если ты за народ — принимай и советскую власть. Да и стараться особо не надо: она, советская власть, у нас уже и так в печенках сидит. Мы с ней родились, как с образом Сталина в голове, и из памяти ее не вытравишь: память — она аморальна, и любишь всем сердцем, то, что помнишь”.

“И вас тоже обратно потянуло: в чулан с паутиной — в свидригайловский рай?”

“А вы и про эту идею слышали? А вы не иронизируйте. О чем человек мечтает, чего добивается? Беспечного безделья. Только здесь ради этого люди спину себе всю жизнь гнут и гнут спину другому, чтобы, выйдя на заслуженную пенсию, наконец-то наплевать на все остальное человечество. А у нас там к наплевательству привыкаешь чуть ли не с пионерского возраста. Полная безответственность — вот он, вечный идеал. Вот она, свобода. У нас там с детства отобрали право голоса, с какой стати я буду считать себя ответственным? Конечно, до идеала далеко: на собрания тянут, руки поднимать заставляют, по очередям наперегонки бегать. Но разве это можно сравнить со здешней тусовкой? За каждый свой шаг ты тут несешь ответственность, все время надо решать что-то — где жить, где работать, за кого голосовать, протестовать постоянно надо — иначе помрешь с голода или в ночлежках для бездомных, а то и убьют того гляди. Мы для чего уезжали? Для того чтобы не марать себя соучастием, чтобы нам не лезли в душу грязными лапами. Но тут ведь, как выяснилось, еще больше с грязью смешивают, если вовремя не отплевываться. И когда я говорю про чулан — я и имею в виду этот рай безответственности: запереться от всего, сидеть в темноте и ни о чем не думать. И должен сказать, в Союзе на этот чулан больше шансов — чуланная традиция раньше укоренилась, причем чулан дают бесплатный”.

“Почему бы прямо не в гроб?”, — пробормотал я. Он, види-

мо, заметил, как я побледнел, подошел ко мне, похлопал по колену, и сказал:

“Ну зачем такие крайности? Это в вас русско-еврейская жилка срабатывает. Хотя считаете вы себя представителем Запада, с российской, конечно, душой. А я себя никем не считаю, к особым живчикам себя не причисляю, и лелею мечту о советском чулане исключительно потому, что другого не знаю и не люблю. А кто там будет верховодить советской властью за дверью моего чулана — Солженицын или кто еще — мне решительно наплевать. И уверяю вас, точно так же думает лучшая часть советской интеллигенции, не говоря уже о народных массах как Востока, так и Запада. Вы поймите: мы с вами одного поля ягода, точнее — одного поля картошка: сидим и гнием в земле по разные стороны изгороди, или там железного занавеса, называйте, как хотите, он и так давно в дырах. И нечего тут выпендриваться, что мы, мол, за что-то несем ответственность!”

“Нет, но просто Клио, знаете, она все-таки — сошла с ума, знаете, и этот юноша, Колин, он ведь убит? И этот суд сейчас”, — бормотал я в замешательстве, стараясь увернуться от его тяжелого и нагловатого, несговорчивого взгляда. Я почему-то чувствовал себя виноватым, я — а не он. Он закинул ногу на ногу и стал раскачиваться на стуле.

“Сошла с ума, убит, а я-то тут при чем? Как говорили у нас в Москве: если у девушки кривые ноги, она, конечно, не виновата, — но я-то тоже в этом не виноват, не так ли? Они же от скуки тут дохнут и начинают шастать по разным народам и государствам. Моя фиктивная супруга свой английский фант, или фан, как тут говорят, получила. Это мне теперь надо из разных передряг выкарабкиваться. А самобичеванием они пускай сами занимаются. Вам же я не советую во все эти псевдотонкости вникать: свихнетесь! У вас, я знаю, есть эта склонность свинью с апельсином сравнивать и проводить параллели. Я же все ваши эссе в журнале “Синтаксис” изучил. Талантливо, бойко, но слишком много неофитского жара — я имею в виду неофита эмиграции, открывшего новую духовную родину. Отсюда у вас непрерыв-

ные сравнения: там и здесь, здесь и там, железный занавес с трагедией по ту сторону рампы, сближение далековатостей, по Ломоносову, и, конечно же, с непременным поклоном Посейдону трех волн эмиграции — Набокову. Какие-то у вас вырисовываются московские круги, от которых, откровенно говоря, остались одни круги на воде, вилами писанные. И все это у вас с подтекстом, с чтением между строк — да какой там подтекст, кто думает сейчас о подтексте в Союзе? Все и так знают, что положено, а что не положено говорить, никакого подтекста не нужно. Тайных мыслей давно не осталось, поскольку, как я сказал, идея одна: не лезь и тогда говори, все что хочешь. А вы тут, в эмиграции, все выискиваете какой-то тайный смысл в духовном обнищании русской литературы — все ищите каких-то зловещих цензоров, палачей свободной словесности, надеетесь на возрождение подпольной мысли. Какая может быть подпольная мысль, когда кругом все и так давно стали подпольными, точнее, блатными? А если и осталась горсточка, как сказал бы Достоевский, "наших" эпохи 60-х, то они все сидят по домухам и молчат в тряпочку. А вы из них делаете героев, и тем самым, между прочим, обманываете западную общественность розовыми надеждами на якобы неминуемый конец советской власти!" — Последние фразы он уже говорил стоя, точнее, не говорил, а выкрикивал мне в лицо. Я хотел ему что-то возразить, но из полураскрытого рта моего раздалось бессмысленное и беспомощное: "ы-ы-ы-ы".

Я вышел из полицейского участка и долго шел просто наугад, стараясь унять тряску рук, губ, всего тела. Меня трясло не от бешенства, а от чувства окончательного унижения. Унижения от осознания катастрофической разницы во мне самом — до и после визита в камеру Константина. Я шел на встречу с ним как знаменитый (в избранных, конечно же, узких кругах) писатель, снизошедший до просьбы своего компатриота с сомнительной репутацией. Шел на это тюремное свидание как гражданин свободного мира, точно знающий свое скромное, но почетное место в иерархии западной культуры, не стыдящийся своего прошлого и без

боязни глядящего в будущее, лелеющий свое положение избранника, пишущего на ином языке, нежели его собратья по перу в новом духовном отечестве, но принятого ими с литературным гостеприимством. Слово "изгнанник" было изюминкой в этом торте, который судьба бережно пекла из второй половины моей жизни. И вот в этот торт плюнули. Боже мой, неужели этот красноречивый наглец был прав? А я знал, что он прав. Прав, по крайней мере, в отношении лично меня. Прав, потому что я, как и все мы тут, "из бывших", втайне от себя подмалевывал и подкраивал свое прошлое так, чтобы оно не слишком мешало настоящему, не слишком терло в шагу, чтоб не мешало поступательному движению вперед. Я знал, что я мухлюю, затирая одно пятно, подкрашивая другое, искажая перспективу так, чтобы мое настоящее гляделось из моего прошлого, как светлое будущее; чтобы те, кто не решился эмигрировать, те, кто остался там, выглядели б дураками, сами во всем виноватыми, а я — как самая главная жертва, заработавшая своим подвигом статус жреца. Отправляясь на свидание в камеру предварительного заключения, я находился в святой уверенности, что меня никто не сможет поймать с поличным, что меня никто не сможет разоблачить. Те, кто остался там, в прошлом, никогда не станут свидетелями моего настоящего, а свидетели моего настоящего здесь никогда не узнают запутанной изнанки моей прошлой жизни. Я был защищен не просто географией и закутан в броню железного занавеса — меня охраняла и дистанция времени, позволяющая переписывать ошибки прошлого в залог будущих побед; и никто не сможет поймать тебя с поличным, поскольку свидетели этих побед и поражений разъединены дистанцией времени и пространства, и никогда не смогут увязать историческую фальшивку моей судьбы в одну логически связную формулировку обвинения.

И вдруг этот, неведомо откуда явившийся наглец — из неведомых мне кругов с сомнительной политической родословной — ткнул в меня пальцем и заорал: а король-то голый! Вооруженный до зубов ежедневностью быта своей

страны, которая для меня давно превратилась в фикцию податливой уму памяти, он заявлял, что эта страна существует сама по себе, вне зависимости от моего личного к ней отношения и хитроумных махинаций с прошлым, и существует она не такой, какой требовалось для моего душевного комфорта. Я же выходил примазавшимся, попутчиком русской истории, торгующим на сторону. И с тошнотворной ясностью я различил в себе, как на рентгеновском снимке, эту саркому его России, мешающую мне дышать, пробирающуюся в мозг метастазами. Все что говорил этот гад о России, о Советском Союзе было непреложной правдой. Гад был прав. Гад был прав исторически. Если ты умеешь разгадать все историческое зло и следовать этому злу на десяток лет вперед, ты никогда не ошибешься. История всегда на стороне гадов. Гады всегда на стороне истории. Единственное спасение — выпрыгнуть за борт парохода истории, без спасательного круга, прямо в штормовое море внеисторичности, вневременности. Но ведь и этот хаос за бортом, как всякая вечность, не знающая конца, смерти, то есть жалости, отличается от зла исторического лишь тем, что этот хаос лишен логичности, которая обретается историей постфактум; добро — лишь редкое мгновенье, узкий промежуток, случайно остановившееся время, миг нелогичности в злой цепочке причин и следствий, двурушник меж двух зловещих альтернатив вечности. И может быть, прыжок с борта в пучину и дарует это мгновение подвешанности, мгновение добра между злым хаосом рождения и историческим злом смерти. Гад был прав, а я нет. Гад обладал душевной цельностью. Я был двурушником. Но я предпочитал это двурушничество, этот затянувшийся полет самоубийцы, пытающегося собраться с мыслями в короткий промежуток между рождением и смертью. Тут меня и сбил мотоцикл.

Я переходил, как помню, Шафтсбери авеню, одну из широких центральных улиц. Это одна из огромных лондонских улиц, где в середине пролегает узкая полоска бетона, вроде фиктивного тротуара, разделяющего движение на две половины. Перед тем как пересечь улицу, я, естественно, как и пола-

гается в стране с левосторонним движением, повернул голову направо, дошел до середины, до этой бетонной полоски, и там задержался, задумался над очередным метафизическим поворотом вышеописанного разговора. Добравшись мысленно до соответствующего умозаключения, я решил возобновить свой маршрут и перед тем как пересечь вторую половину проезжей части, снова повернул голову направо. Трудно объяснить, почему я уже десять лет живущий в этой стране, повернул голову в неверную сторону. Возможно, я, стоявший на этой промежуточной полоске посреди улицы, вообразил, что стою на тротуаре и лишь начинаю пересекать улицу — с английским, левосторонним, движением, и потому снова повернул голову направо. Но, возможно, стоя на этом фиктивном тротуаре, и перебирая в памяти разговор на российскую тему, я перепутал страну своего пребывания и, вообразив, что стою посреди московской улицы, повернул голову направо, по-советски. Я даже помню свое удивление при виде пустынной улицы: надо же, центр города, середина дня — и ни одной машины! И я шагнул. Тут-то на меня и налетел — слева — мотоцикл. "Конец", — подумал я, падая на асфальт.

Мне повезло: мотоциклист успел нажать на тормоза в последний момент и лишь сбил меня с ног. Я помню ощущение не столько боли от падения, сколько позора из-за нелепости всей сцены. Еще ничего не чувствуя, я тут же вскочил на ноги и стал уверять мотоциклиста, с побледневшим от ужаса лицом под шлемом, что во всем виноват исключительно я, и просил извинить меня за происшедшее недоразумение. Успела собраться толпа, кто-то кричал, звал скорою помощь, к мотоциклисту приближался полицейский, но я уже шагал, преувеличенно уверенным широким шагом в сторону Пикадилли. И лишь в метро, ожидая на платформе поезда, я почувствовал, что не могу ступить на левую ногу. А когда вернулся домой, уже не мог вытащить распухшую ногу из штанины брюк. Перелома никакого не было, но даже по квартире я не мог продвигаться без костылей. Во время этого неожиданного домашнего ареста, вторую неделю созерцая каждое утро, как распухшая нога с кровоподтеком меняет цвет от

небесного темно-голубого до трупно-зеленого, я, помня адвокатскую просьбу, пытался сварганить нечто вроде свидетельских показаний на тему трактата Константина, честно стараясь преодолеть личное отвращение ко всей этой истории и быть, по возможности, объективным. У меня ничего не получалось. Однажды утром я сел за английскую машинку, чтобы сочинить письмо адвокату с вежливым отказом от выступления на суде по причине резкой боли в левой ноге, когда в почтовую щель просунули утренний выпуск "Таймса".

На первой странице с продолжением на центральном развороте газеты под заголовком "Вмешательство советского посольства в британское судопроизводство" сообщалось о беспрецедентном развитии событий в связи с судом над советским гражданином по обвинению в непреднамеренном убийстве. Выяснилось, что Константин, в конце концов, был выпущен из полицейского участка под денежный залог. Дотошливый корреспондент сумел, явно не без помощи своего человека в полиции, выяснить, кто предоставил деньги для освобождения под залог: заполучив копию чека, он без труда обнаружил, что деньги были выплачены лондонским отделением советского банка. Советское посольство, загнанное в тупик слухами, которые стали расти вокруг этого судебного процесса, решило играть в открытую: посольство опубликовало официальную ноту протеста, где заявляло о том, что показательный процесс над Константином — политическая расправа над советским гражданином, попытка очернить советскую власть путем грубой подтасовки фактов о якобы уголовном характере обвиняемого; советское посольство настаивало на том, что виновность подсудимого должна решаться советским судом, и если эта виновность подтвердится, советское законодательство накажет подсудимого по заслугам; в заключение советское посольство требовало немедленного возвращения советского подданного на родину. Тут же приводилось выступление в парламенте представителя лейбористской партии; не разделяя, правда, целиком точку зрения советского посольства, этот лейборист воспользовался тем не менее случаем для обвинительного спича в адрес коррумпиро-

ванной системы британского судопроизводства, ставшей слепым орудием британской аристократии в руках консервативного правительства, которое раздувает антисоветскую шумиху о правах человека вокруг крайне сомнительной фигуры подсудимого, в то время как бастующие рабочие Великобритании избиваются полицейскими дубинками. Этому парламентария поддержал в прессе представитель Комитета по ядерному разоружению, который заявил, что суд над советским гражданином — еще один пример разжигания агрессивных тенденций в отношении Советского Союза; Великобритания, сказал он, слепо подражает Соединенным Штатам в пропагандистской кампании за либерализацию режимов стран Восточной Европы, не имея на то ни моральных оснований, ни стратегического превосходства; суд над советским гражданином, поэтому, ничему не послужит, кроме дальнейшего роста международной напряженности и риска третьей мировой войны. Ему возражал член Европейского парламента от консервативной партии, который в своем интервью "Таймсу" призывал британскую общественность не следовать демагогическим интерпретациям советской законности и не повторять трагических ошибок прошлого, когда после второй мировой войны тысячи советских военнопленных были выданы советским властям и, как всем нам хорошо известно, тут же были отправлены в исправительно-трудовые лагеря или же прямо расстреляны в подвалах Лубянки.

Не дочитав "Таймс", я бросился (на костылях) звонить адвокату Константина. Телефон был занят около часа: я был, видимо, не единственным, кто пытался дозвониться по этому номеру. Когда наконец я услышал в трубке его прекрасный еврейско-оксфордский акцент, я начал с извинения о том, что из-за истории с мотоциклом не смог вовремя сдержать своего обещания, но он прервал мои бормотания еще одним сногшибательным сообщением: Константин исчез; его машина была найдена брошенной неподалеку от советского посольства в Лондоне. Круги русской эмиграции, как, впрочем, и газетчики, неделю за неделей ждали заявления ТАСС: о пресс-конференции, где Константин, с бледным от пыток и допро-

сов лицом будет разоблачать провокации британской разведки и язвы капитализма. Однако ни заявления ТАСС, ни пресс-конференции не последовало. Константин тихо исчез: без суда и следствия. Эмигрантские круги были полны слухов: одни считали, что Константин — провокатор и двойной агент, засланный изначально для дискредитации борьбы за свободу выезда; другие считали, что он стал двойным агентом, так сказать, вынужденно, испугавшись тюремного срока; третьи упрямо настаивали на том, что его похитили, в доказательство своей теории приводя тот факт, что никаких разоблачений о "буржуазном Западе" со стороны Константина не последовало.

За неимением горячих новостей газетчики добрались и до меня: не прошел незамеченным ни мой визит в полицейский участок, где содержался во время суда Константин, ни история с мотоциклом. Я отмалчивался и решил на время уехать из Лондона. Когда чье-то лихое газетное перо выдвинуло предположение о том, что история с мотоциклом на Шафтсбери авеню — попытка КГБ избавиться от свидетеля, то есть от меня, выведавшего у Константина некую государственную тайну, я решил не опровергать истории. Откуда я знаю? А может быть, это правда? В конце концов, история советской власти полна фантазмагорий до такой степени, что еще одна дорожная катастрофа, приписанная органам, им не повредит, зато придаст необходимую остроту жизни соскучившихся на свободе эмигрантов.

Лондон. 1984

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

Инженер Сэм Житницкий: "Оплот Израиля"; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака

Книгу можно заказать в редакции "Время и мы":

"Time and We" 475 Fifth ave, room 511-A

New York, New York, 10017

Цена книги 10 долларов.

В книге 254 стр.



Феликс РОЗИНЕР

ПОПУТЧИКИ

Живя переменчивой жизнью газетчика, журналиста, критика, эссеиста, встречаясь ежедневно с людьми числом в легион, погружаясь то в одно событие, то в другое разом и вдруг, привыкший переключаться с мыслью своих на чужие, быстро отвечать на неожиданные вопросы и быстро же принимать неожиданные решения, Сима Красный в своей переменчивой, бурной, сумбурной жизни плыл сравнительно благополучным образом лишь потому, что, как ему думалось, был у него хороший компас. Компасом таким служила ощущаемая им внутри подвижная чуткая стрелочка, острие которой верно, пусть и с некоторыми, вполне допустимыми искажениями, указывала туда, где было как бы написано "необходимо", или же, при полуобороте на житейском горизонте, — прямо противоположное "случайно". И Сима, ощущая свою стрелочку, привык уже произвольно, чуть ли ни вслух, отмечать про себя, столкнувшись с той или иной ситуацией: необходимо!.. случайно!.. необходимо!.. И отметив это, знал уже, как быть:

"необходимо" требовало внимания, раздумий, усилий, быть может, борьбы, упорной и бескомпромиссной, тогда как "случайно" он или отбрасывал, когда это можно было отбросить, выкинуть из головы или из череды бесчисленных дел, или, коль выкинуть было нельзя и с таковым досадным положением приходилось мириться, уходил за стену стоического фатализма: если уж что случилось — значит, случилось, на то и есть в нашем плохо устроенном мире эта неистребимая глупость — случай. Словом, Сима случайностей не любил, и даже когда внезапно происходило — сиречь случалось — нечто приятное, и даже очень, — ну, например, знакомство с симпатичной молодой особой, чем же оно не приятно? — он все-таки несколько досадовал на себя, чуть-чуть раздражался: вот, мол, поддался случаю, клюнул на ерунду, вместо того, чтобы... Правда, надо сказать, молодая симпатичная особа раздражительности его не замечала, потому что, досадуя на себя, Сима, что называется, заводился, и его обычная деловая сдержанность исчезала под действием нервного тока, в нем возникавшего, и он, мужчина далеко не старый — подвижный легкий брюнет с серовато-синими глазами, — становился в таком возбуждении особенно привлекателен. Зная за собой способность раздражаться вдруг, он еще и умело маскировал ее под шутиливой любезностью и готовностью поддержать ни с того ни с сего затеявшийся разговор.

У бензоколонки, едва он подъехал, кто-то к нему обратился с вопросом, смысл которого из-за шума невыключенного мотора Сима не уловил, а услышал только "Иерусалим". Он, не думая, машинально кивнул, так как ехал в Иерусалим, и тут только спрошенное у него восстановилось как после обратной перемотки какой-то там катушки в памяти:

— Прошу прощения, господин направляется в Иерусалим?

Спросивший сделал полшага к дверце, и второй его вопрос, который можно было и не задавать, завел Симу тут же за стеночку его стоического фатализма:

— Можно мне сесть в машину? Thank you, thank you very much!

Человек благодарил, чуть ли не на лету подхватив второй

кивок Симы. Стрелка внутри него указывала на "случайно", стрелка бензосчетчика — на желтый квадратик нулевого ограничителя, бензин лился в бак, деньги, мелькая поджатыми ртами Бен-Гуриона, переходили в чьи-то корявые руки, предстояла дорога длиной в шестьдесят километров и в сорок минут, рядом будет сидеть старикан, уже устроившийся на переднем сиденье и теперь деловито пытавшийся застегнуть ремень — ну-ну, попробуй, я и сам не всегда справляюсь с этой дурацкой защелкой. Однако старик с ремнем легко совладал. Сима взглянул на соседа. Тот возился с перекинутой через плечо замусоленной сумкой. Сквозь прореху ее полуоторванной молнии красным боком мелькнул помидор, увиделись вся в крошках корка хлеба и такие же, в крошках сыплющейся бахромы, обветшалые, истертые бумажки. Старик, ткнув рукой два-три раза туда, внутрь сумки, затолкал содержимое глубже и, подняв голову, одарил Симу светлой улыбкой прозрачных уже от выцветшей голубизны или от благоприобретенной ясности водянистых глаз. Старик был небрит, и по меньшей мере недельной давности седая щетина покрывала его круглое, с пухловатыми щечками и потому как будто детское лицо. Круглой, с небольшую ладную дыньку была и вся его головка, поверх которой, прикрывая такую же, как на лице, седую коротенькую щетинку, лежала черная лоснящаяся шапочка-кипа.

— Я очень вам благодарен, — проникновенно, будто смакуя каждое слово красивой формулы благодарности, сказал старик. — Хорошо, когда встречаешь человека такого, как вы, кто готов сделать доброе дело.

— Не стоит благодарности. В Израиле это принято, верно? — ответил Сима. Он уже выехал на шоссе и набирал скорость.

Старик медленно и с видимым удовольствием говорил: упомянув Израиль, Сима, сам того не ведая, преподнес пассажиру тему.

— Вы правы. Это правда, в Израиле есть хорошие люди. Мы один народ. Вы образованный и умный человек, а я бедный простой старик. Но вы отнеслись ко мне как к равному. Как еврей к еврею.

Сима хмыкнул. Выспренность и пустая галиматья! И я должен это выслушивать?

— Извините, я хочу вам возразить. Я не вижу логики в ваших словах, — сказал Сима со скрипом в голосе и покосился на старика. Тот подался вперед и одновременно к Симе, чтобы приблизить к нему свое левое ухо. У старика был выразительной линии профиль: пропорциональные подбородок и лоб, чуть выдвинутые, как будто он на что-то дул, рельефные губы и длинный, но не опущенный книзу, а курносый, придававший профилю что-то лисье, нос. Вместе с прилегающей к макушке шапочкой все это было похоже на головы тех смешноватых фигурок, что бежали, боролись, дрались мечами на стенках греческих ваз.

— Я слушаю. Логика? Я слушаю. Мне очень интересно, — сказал старик, поскольку пауза затянулась, а он был воплощение вежливости и внимания.

Сима вздохнул, набрал воздуха для готовой уже тирады. Все равно старик ни черта не поймет, но почему-то хотелось ответить. Хотя, конечно, он знал, почему. Поперек горла это всенародное самодовольство. "Мы — евреи", "мы — не такие", "мы — лучше других", "мы, мы, мы"...

— Я вернусь к вашим словам. "Мы один народ". Англичане тоже один народ, французы — один народ, итальянцы... Евреи в меньшей степени один народ, чем другие. Я вырос в России, вы — я не знаю, откуда вы?..

— Из Польши, вы — из России? — прекрасно, очень хорошо! — Из России здесь, в Израиле, столько хороших людей!..

— ...вы из Польши, а вот этот, что сейчас обгоняет нас, наверно, из Марокко или из Египта, и мы далеко не один народ в том смысле, в каком один народ французы или англичане: у них была одна история, один язык, одна традиция, а у нас? Это во-первых. Во-вторых, вы сказали так: ты образованный и умный, а я бедный и простой. Тут нет логики. Образованный и умный может быть одновременно бедным и простым. И напротив, богатый и надменный человек может быть безграмотен и полный осел. Кроме того, что значит "ты отнесся ко мне как к равному"? Ничего подобного. Как более молодой

к старику. И уж конечно, не как еврей к еврею. Просто как к старому человеку.

Вдруг рука соседа коснулась сгиба Симиного локтя. Рука эта мелко-мелко тряслась. Сима, бросив взгляд на нее, посмотрел на соседа. Тот смеялся.

— Нет логики? Я понимаю, я понимаю! Вы знаете, что я вспомнил? Есть такая поговорка, вы ее слышали? Тоже без логики. — И вдруг на чистейшем русском языке старик со все той же присущей его речи медлительной, важной манерой изрек: — "Лучше быть богатым и здоровым, чем хоть и бедным, но больным".

Сима расхохотался. Он, конечно, эту шутку знал. Но старик произнес ее так уморительно! И к тому же — на русском! Черт возьми, он вовсе не примитивен, этот божий человек, этот дервиш от иудаизма.

— Теперь послушайте. Греческая логика — хороший инструмент. Но ее возможности ограничены. Во многих сферах жизни логика не имеет смысла. — Старик вещал, одним и тем же соразмерным движением простирая руки вперед, к ветровому стеклу, как будто устанавливая перед собою невидимые кубики. — Если из логической посылки обязательно следует необходимое заключение, значит, мы имеем дело с простейшим предметом. Объекты достаточно сложные логике не подчиняются.

— Что-что? — переспросил Сима. Он слышал что-то весьма любопытное. — Сложные объекты? Что же вы называете сложным? Движения светил, по-вашему, — это просто?

— Я думаю, что — да, это просто. Пусть уважаемый господин извинит меня за это отступление, я не хотел с вами спорить. Я только хочу вам указать на то, что и вы оказались выше логики, когда изволили прокомментировать мои слова. С точки зрения логики мои слова об образованном и бедном были, действительно, абсурдны. Но вы своим ответом показали, что значение, которое я в них вложил, было вами воспринято и понято. Таким образом, — и здесь я, делая вывод, следую вашей логике, — вы оказались вне логического, то есть в сфере более высокой.

— Ну, знаете... Если не логика... Как же тогда доказывать... свое... Свою правоту?

Вдруг он почувствовал какую-то младенческую беспомощность. Такое с ним случалось два-три раза в жизни — однажды на операционном столе, когда резали аппендикс и наркоз уже прекратил свое действие, другой раз на собрании, когда его уличали в тайной связи с сотрудницей, третий... Может быть, третий — сейчас. Почему — он не мог объяснить. И это внезапное чувство беспомощности и необъяснимости этого чувства внушили ему против воли — против логики, как он тут же и отметил, — что старик, если и не прав, то во всяком случае ближе к истине, чем он, Сима, с его убежденностью в силе логики.

— В какой же это сфере... я оказался? — продолжил он, уже зная, что с очередным ответом испытает новое поражение, и ожидание его несло с собой какое-то мазохистское наслаждение.

— Это сфера духовного, — проговорил старик. — Обращения к Богу.

Сима был разочарован.

— Как вы, конечно, заметили, я неверующий.

— Ничего, ничего, — как будто бы с сочувствием сказал старик. Сима вспомнил анекдот: "— Национальность? — Еврей. — Ничего, ничего". Старик продолжал: — Вы принадлежите к народу, который избран Богом для служения Ему. Даже если вы неверующий еврей, вы остаетесь приближенным к Нему. Чем отличается верующий от неверующего? Вы не задумывались?

— Чем же? — спросил Сима с вялостью, потому что ему ничуть не улыбалось пускаться теперь в разговоры о Боге — бесплодные, бесконечные и обычно достаточно скучные.

— Неверующий, пребывая в своем обыкновенном, ежедневном бытии, *deeper in his existence*, не видит связи повседневности с Богом. А верующий ощущает Бога в каждое мгновение своего бытия. Но и неверующий, когда он выходит за пределы обыкновенного, житейского, когда он думает и расширяет знание, когда он пребывает в состоянии любви,

когда зачинает ребенка, когда видит смерть, когда смотрит на звезды, — он ощущает священные связи с Богом. Неверующие называют это иначе. Они говорят о бесконечности, о невозможности постичь природу. Пусть. Ничего, ничего. То же самое.

Начинались холмы Иудейских гор. Солнце стояло уже высоко над ними, но воздух, с гулом входивший в кабину, становился все более свеж.

— Приближаемся к Богу, — не очень-то скрыв иронию, улыбнулся Сима.

— Да. Мы едем в Иерусалим, — серьезно ответил старик.

Он умолк. Он то ли размышлял, то ли молился: чуть расставленные пальцы его рук подушечками касались друг друга, и обе сложенные так ладони он держал перед полуприкрытыми глазами. Губы его шевелились, брови вздрагивали..

Вот еду я по прекрасной этой дороге к священному городу Ерушалаиму, думал Сима. Тут родилась религия моих предков, тут проповедовал Христос, тут разгорались страсти, тут воевали, тут воюют, тут убивали и убивают. И Бог, имя Бога на устах у всех. Вот еду с этим стариком, с философом, не знаю, гениальным ли, но уж моих-то профессоров на факультете филологии Чикагского университета он легко положил бы на обе лопатки. Вот еду я, всего каких-то семь лет назад покинувший Россию, где жизнь газетчика, журналиста, критика, эссеиста была героизмом, приведшим меня, Симу Красного, в ряды борцов за многие и разные права — гражданские, национальные, литературные и музыкальные, — вот еду в Израиль, вот еду в Америку, вот делаю докторат, вот еду в Израиль, вот еду в Нью-Йорк, получаю премию, вот еду в Израиль, везу с собой премию, вот еду в Иерусалим, меня берут в газету, вот еду в университет, вот рыскаю по архивам, вот еду я, еду и еду, и — пора вот переключиться на низкую — вот так, дорогой, едем дальше, прекрасна дорога в Иерусалим, прекрасны холмы Иудеи, есть запах цветочный у Высшей Идеи...

— Мы едем в Иерусалим, — сказал вдруг старик. — Мы не восходим пешком, а быстро едем на машине, и тем не менее ощущаем святость этих мест. В каждом из нас еврейское

сердце. Чем мы отличаемся от других народов? — с такой торжественностью спросил старик, что можно было подумать, будто он сидит во главе пасхального стола, и внуки сейчас ответят на его вопрос о том, чем эта ночь отличается от других ночей. — У нас такое же тело, как у других. У нас такое же тело, как у других, такие же руки и ноги. Но сердце у нас другое. Другая душа. Когда Моисей на горе Синай разговаривал с Богом...

Началось длинное, с деталями, почерпнутыми, вероятно, из Талмуда и не известными Симе, изложение тех событий, в результате которых евреям дан был Закон. Старик говорил на красивом библейском иврите. Сима скучал и пытался осмыслить, как сочетаются в старике телесная запущенность, ясность строгого абстрактного мышления и беспримечный примитивизм во всем том, что касалось этой несчастной еврейской души. Он просто-напросто один из тех, кто об Израиле говорит с такой же готовностью и страстью, с какой иные говорят о женщинах, о бирже или о баскетболе. Говорят не то что со знанием дела, а прямо-таки профессионально. Будто Израиль и евреи — некие ингредиенты бытия, которые он, говорящий, как химик-специалист, давным-давно исследовал вместе и по отдельности, перетер в лабораторной ступе, сплавил, разложил, подвергнул возгонке, очистил до истинности стопроцентной и теперь аптечными дозами раскладывал по пакетикам утверждений. Вне логики. Вот-вот. Как он там говорил? В сфере духа логика бессильна. Ну-ну, давай, старик, мы с тобой приближаемся к Богу.

Книга Симы готовилась к выходу в свет на иврите, и для этого издания он хотел расширить ее по сравнению с изданиями русским и английским. Шум, который произвела эта работа — книга "русского диссидента" и "еврейского активиста", как попеременно называли Симу Красного в зависимости от контекста событий, в коих он принимал участие, был вызван не только его российским славным прошлым. В своей книге он последовательно развивал ту крамольную нынче мысль, что идея национальная, какой бы актуальной она ни была для данного народа, есть идея более низкого порядка,

чем идея демократии, и более того, сегодня "национальное" является противоположным "демократическому", поскольку в нынешних условиях речь должна идти о спасении демократии вообще, демократической цивилизации в целом, тогда как националистические движения не только затуманивают эту жизненно важную цель, но и объективно ей противостоят. Книга Сима взбудоражила как националистов, так и демократов, которые всегда считали своим долгом делать реверансы в сторону борцов за нац-свободы, нац-культуры и нац-самоопределения. Все признавали, однако, что работа Красного написана блестяще, а нью-йоркская ассоциация журналистов почтила ее автора парой тысяч долларов и приглашением выступить в клубе газетчиков. В израильских кругах особый интерес был проявлен к той части книги, где Сима рассказывал о своей семье. Его предки — несколько поколений воложинских мудрецов — в самом начале века породили отступника — Симиного отца. Подросток, уже в тринадцать лет пораженный раввинов своими познаниями, он в пятнадцатилетнем возрасте вступил, подобно Аврааму, в единоборство с Богом: искушаемый желанием ближе постигнуть Его, он однажды осквернил субботу, не помолившись с утра и сев на поезд, неизвестно куда повезший его. В ужасе и восторге ждал он кары Господа — грома небесного или, по меньшей мере, крушения поезда, но Всевышний не проявил себя. Поезд, который пограл своими колесами чистую веру юноши, прибыл, как оказалось, в Вильно, где бывший ешиботник скоро стал активным сионистом. Нелегальный приезд в Палестину, подполье, социализм и компартия, арест и высылка по приказу генерал-губернатора, — и Эммануэль Красный становится функционером Третьего интернационала — тем неуловимым Красным, за которым в тридцатых годах охотились германские, польские и французские полицейские службы. Потом последовал вызов в Москву, где поселилась жена — такая же собственность Партии, как и он, затем арест — и безвестная гибель в Сибири. Сима, родившийся перед войной, отца никогда не видел. То, что о нем рассказывали мать и родственники, то, что стало известно о нем от уцелевших его сотово-

рищей там, в Москве, когда они повозвращались из лагерей, Сима ввел в свою книгу как живой материал, составивший обширную главу "Трагедия идеи". В ней Сима показывал, как три великих идеологических доктрины, которым служил отец, — доктрина Бога, доктрина сионизма и доктрина коммунизма — последовательно терпели поражение на том поле битвы, которое единственно и является испытанием всякой духовной идеи — на поле человеческой судьбы, в данном случае — судьбы Эммануэля Красного. В наследство сыну досталось лишь отрицание. И как единственная надежда — попытка держаться за демократию, как за поплавок, позволяющий не утонуть в бурном море истории века. Теперь, готовя издание книги в Израиле, Сима решил пополнить главу кое-чем из того, что можно было почерпнуть из архивов, из периодики, мемуаров и прочих различного рода источников, которые были ему недоступны в России, где родился замысел книги и где делались ее первоначальные наброски.

— ...и то, что вы здесь, — доносилось до Сима, — говорит, что главное — это принадлежность к своему Народу, к его Богу и к его Земле. Вы были у Стены?

— Был, конечно.

— Вот видите, какое благо! Вы согласны?

Сима промолчал, но краем глаза он видел, что старик выжидающе смотрит на него.

— Вы живете в Иерусалиме? — поинтересовался Сима — лишь для того, чтобы сказать хоть что-нибудь.

— Нет, — коротко сказал старик, замолк, и Сима подумал, что он, наверно, живет без постоянной крыши над головой. Потом старик продолжил:

— Я еду к Стене. Там сегодня рав Гордон. Вы знаете рава Гордона?

— Нет. К сожалению.

— Это большой мудрец.

Сима скорее почувствовал, чем увидел, что старик улыбается:

— Я хочу поговорить с ним перед смертью. Я хочу жить в Иерусалиме.

Опять какой-то алогизм, подумал Сима, но тут же до него дошло: старик хотел быть похороненным в Иерусалиме.

— Пусть Бог пошлет вам здоровья. До ста двадцати, — сказал Сима вежливо.

— Господь велик. Спасибо вам, — ответил ему старик, сказал что-то еще, но Сима уже не слышал его: машина проезжала мимо полицейского заслона — начинался город.

Он сказал старику, что подвезет его к Старому городу, ближе к Стене. Старик источал витиеватые благодарности. И когда наконец машина остановилась, старик все еще выговаривал заключительные слова своих благословений доброму господину, который в сердце своем оберегает лучшее, что есть у нас, у тех, кто на Синае... Он стоял уже за дверцей, Симиная нога подрагивала, готовая не упустить того вождя мгновенья, когда надавит она на газ, но старик, вдруг на полуслове прервав себя, замер, постоял так, глядя куда-то сквозь Симу, потом сказал:

— Нет ничего. Есть только Надежда. И эта Надежда — Бог.

Прошло несколько дней. В субботу Сима взялся мыть и чистить машину и, выметая из кабины накопившийся в ней сор, обнаружил на полу нечто бумажное — грязное, с истлевшими углами. Это было оброненное стариком удостоверение личности, на котором под совершенно слепым фотоснимком Симе с трудом удалось разобрать: Эммануэль Адам.

Раввин Гордон, когда на следующий день Сима встретился с ним, сказал, что Эммануэль, пришедший к Стене, беседовал с ним, с раввином, в течение четверти часа. Они вместе молились, и сразу после молитвы Эммануэлю сделалось плохо. Его отвезли в больницу "Хадасса", где он в тот же день скончался. Гордон показал Симе свежую могилу. В ответ на расспросы Симы раввин мог сказать о прошлом Эммануэля, что тот, кажется, выбрался из России вместе с поляками генерала Андерса и после Ирана оказался здесь.

Сима вернулся домой, подошел к сидевшей перед телевизором матери и сказал:

— Мама, я видел отца. Он умер в прошлое воскресенье.

Потом в своей комнате Сима сидел у письменного стола,

листал свою книгу, курил и пытался думать. Ему хотелось думать так, как будто не было ни этой книги, ни долгого прошлого в давней России, ни этих недавних семи здешних лет. Ему хотелось думать вне логики — так, чтобы в нем непрерывно возникала и жила одна всеобнимающая мысль о всех великих идеях и всех маленьких судьбах, о жизни и умирании — и людей и идей, о том, что смерть бывает жива, а жизнь мертва — как смерть отца сорок лет назад и жизнь его до этих последних дней, как гибель его Бога когда-то в далекой юности и воскресение Бога в его недавней старости, как эта страна и та страна, как тот и этот народы, оба живущие и умирающие, как он сам, Сима Красный-Адам, желающий и отвергнуть все отошедшее и умеревшее — и живущий этим ушедшим, мечтающий теперь о книге не той, что была им написана, а совсем иной в ее началах и концах. Он хотел невозможного. И чем яснее сознавал он эту невозможность, тем сильнее его к ней влекло.

Лето 1981 г.

Дорога Тель-Авив—Иерусалим и обратно

ПОЭЗИЯ

*Ирина ГРИВНИНА***ГОРОД НА СЛОМ***(Неоконченная поэма)*

When you cry because
you lost
the sun
your tears prevent you
from seeing stars

ЧАСТЬ 1

1
Бабье лето раскрасило
Деревья московских бульваров
Опалило Палиху
Золотою листвою
Опрокинутым зеркалом
Застыли пруды Патриаршие
Пушкин замер
Задумавшись
Над разудалой Тверской

По Моховой студенты
Спешат на дневные лекции
Дремлют лавки Охотного
На солнечной стороне

.....
.....

Над площадью

У обрыва
Фронтон Большого Театра
Покровитель Поэзии
Сдерживает коней...

2
Нет больше родины
Она исчезла...

На мертвых площадях
Взметая тучи пепла
Ветр стонет
Горестно
Средь вздыбленных громад...

Но — вслушайся —
То — древний Город
Плачет
И камни мостовых его
Кричат...

3
Безжалостный
Скрежещущий фантом
С тяжелой гирей на цепи
Прошел
Огромный экскаватор
Как по телу
Беспомощно
На мостовой простертому
Безудержно
Бесстрастно
Напролом

Мне скрежет этот отравляет слух
 И —
 День и ночь
 Мне не дано забыться
 И Прошлого тяжелую страницу
 Мне в Книге Жизни
 Не перевернуть
 И —
 Ежедневно
 В Прошлом вступать
 И —
 В одиночестве
 Средь призраков блуждать
 И —
 Неназначенных свиданий
 Под часами
 Давно остановившимися
 Ждать
 Следы искать невозвратимых дней...

.....

Потерянных любимых
 И друзей
 В толпе спешащей лица узнавать
 И —
 Как во сне —
 Опять терять...
 Терять...
 И —
 В поисках бессмысленных брести
 По мертвым
 Позабытым мостовым

.....

Но в окнах мертвых

Света не зажечь
 Но прежние трамвайные пути
 Тверским бульваром
 Нам
 Не провести
 Но сонных переулков
 Теснота
 Давно
 Давно —
 Под плитами в земле...

Здесь —
 Нового проспекта суета
 И гладкого асфальта
 Нагота
 Довольных жизнью
 Пешеходов
 Смех...

4

.....

5

Куда идешь?
 Очнись, взгляни кругом —
 Наперерез тебе спешат машины
 Нет
 Больше дома
 Где жила она —
 Та, что в мечтах
 Звалась твоей любимой

Друзья разъехались —
 Ты адреса забыл
 Но снова круг привычный
 Повторяешь

И телефонные звонки считаешь —
 Опять не мне
 Не мне
 И —
 Не меня...

.....

В бездонном коридоре
 Коммунальном
 Твой телефон
 Давно навек затих
 Взгляни —
 Через дорогу от Реальности
 Твой прежний дом
 Возник в мечтах твоих

.....

6

Я вернулся в мой город знакомый до слез...

В недобрый час
 Сюда вернулся ты —
 Мой брат
 Болезнью одиночества снедаем

Свиданий ждем
 Под мертвыми часами
 И светят нам слепые Фонари

Но —
 Невозможно бесконечно ждать!
 Мы так давно уже
 Друг другу снимся!
 Через сорокалетнюю границу
 Перешагнуть —

И — рядом зашагать

.....

7

.....

Запутанные переулки
 Эхом шаги отдаются
 Стооконные фасады
 Прищуриваясь смеются
 Но —
 Вот он, проход на Площадь
 Распахнутую ветрам

— Откуда здесь памятник?
 Кто это?

— Пустое!

Главное — там
 Стихи читают поэты
 Забыв немоту привычную
 Легкими птицами рифмы
 Слетают в толпу безразличную...

Как они были молоды
 Талантливы
 И бесстрашны!

...Но встретят их
 Сытым хохотом
 Города древние башни
 Закрутит в шальных
 Лабиринтах —
 Нет силы сопротивляться —
 В раме бульваров старинной
 Вязь переулков арбатских

8

А мы пройдем
По тем же переулкам
Неслышно
По незримым тротуарам
Безвредное
Шальное ведьмовство
Ты выведешь меня
К громаде Храма

— Здесь БЫЛ Храм
Но —
Давно снесли его...

9

И переулков нет —
Неважно
Что
По ним прошли мы миг назад
Как в сказке

.....
.....

Наш Город умер
Страшно
И давно
На пыльной и истертой
Старой карте
Остался только тонкий силуэт

Ты вел меня вперед
За столько лет
Забытых улиц повторяя профиль

Храм ослепительный
Златою головой манил —

И вдруг
Исчезло разом Прошрое...

10

Рушится все что было
В придуманном нами
Времени
Город тобой воскрешенный
Расплывается на глазах
Стали
Туманом зыбким
Несбывшимся сновидением
Улицы и бульвары
Площади
Люди
Дома...

Ушло очарование мечты
Мучительно
И тягостно прозренье
Исчезли
Лестниц мраморных ступени
Храм тает в ярком зареве зари

Мы — призраки
Сквозь нас и мимо нас
Летят автомобилям вереницы
Реальность пробудилась
Пробил час
Нам от нее куда-нибудь укрыться...

11

Тяжелая дверь
Нас с тобой пропускает
Захлопнув
Реальности мертвую жизнь

Здесь

Тишина застыла живая
 В мягком музейном свете
 Сошлись
 Холсты
 Великих Художников древних
 И —
 Новых времен неистовый взлет
 Эль-Греко грустит
 Рядом с пышным Ван-Дейком
 А там —
 Безумствует
 Мудрый Ван-Гог

.....

Бессмертный Моне
 Величье Соборов
 И —
 Простота крестьянских стогов...

.....

Как в прибранном доме —
 Все просто и строго
 Как в светлом сне —
 Все на месте своем...

12

.....

Но дальше — коридор и поворот —
 И —
 Новое искусство предстает

13

Но этот Мастер
 Город
 Свой
 убил...

.....

Из бреда
 Брошенных людьми руин
 Лицо его
 Всплывает мне навстречу

А купола
 Поверженных Святынь
 Зажглись в вечернем небе
 Будто — свечи

А там —
 Дома, как овцы, сбились в кучу
 И не понять —
 Что —
 Блеют иль кричат

Остались только отпечатки улиц
 Трамвай —
 Без рельс —
 Несется наугад...

А трубы
 Изливают желчь и смрад
 А солнцу
 Сквозь решетки не пробиться
 А нотные значки
 Испуганными птицами
 Торчат
 На бесполезных проводах

14
 Не разбивай
 Скрижаль своей Мечты —

Тобой одним
 Жив Город
 Ты лишь властен
 Спасти весь мир
 От мертвой суеты
 И подарить нам
 Свет
 Восторг и Счастье...

Но — ты не слышишь нас
 Ты глух
 Творец
 Судеб чужих безудержный вершитель
 Ты свой немой
 Отчаянный протест
 На холст швыряешь...

.....

Дилетант-ценитель
 Тебе изобразит
 И Гнев, и Боль
 Тоской своей
 Поделится по-братски
 И заведет
 Бездонный
 Гулкий
 Спор
 О творческом Гореньи...
 Нам остаться
 При этом разговоре
 Не с руки...

Пора нам в безнадежные равнины
 Писать
 Свои наивные
 Старинные
 И — никому не нужные
 Стихи...

ЧАСТЬ II

1
 Погляди — день занялся
 Снег на солнце искрится
 Разбегаются степи
 Вширь и вдаль
 Вширь и вдаль
 Синим кубком бездонным
 Над бескрайним простором
 Опрокинулся Неба
 Неграненый хрусталь...

2.
 Безбрежная степная красота —
 Души
 Очарованье и отрада

.....

Явленье Пушина —
 Пирушка до утра...

Легко
 Понять мне
 Ссылного собрата!

Вдова Клико — и —
 Пробка в потолок!

...За тех
 Что бунтовали в годы оны
 И —
 С шапкою черешен —
 На смерть шли —
 Гусары...
 Бесшабашные бретеры...
 Великие Поэты — соль земли...

3

Мчатся парные сани
 Дышат лошади шумно
 Бесконечен их скорый
 Разгонистый бег

.....

А гусары — так храбры!
 А их жены — так юны!

Жизнь — копейка, приятель
 Цена за побег...

.....

Жизнь — копейка!
 И в Боге позабытом остроге

.....

Мчатся легкие сани
 По сибирским сугробам
 Колокольчик трезвонит
 Под дугой трепеща...

4

Блаженные
 Чудные времена
 Без самолетов и велосипедов...

В санях под полостью —
 С утра и до обеда
 А там — без отдыха —
 До нового утра
 И —
 Счастье, если не застал буран
 Тогда
 За месяцы осатанелой скачки
 Даст Бог —
 Домчат до гибельных равнин
 Сибири
 Нежные
 Прелестные мерзлячки
 Войдут в острог
 К кандалникам-мужьям....

.....

5

.....

6

Теперь
 В любой
 Забытый Богом угол
 Доставит вас
 Ревущий самолет...

Мы стали новыми людьми
 Пожалуй — трудно
 Понять
 Что жизнь по-новому течет —
 Бездумнее
 Быстрей...

И только современник

Мог
 Подвиг этот беспримерный
 Описать
 Их одиночество
 Пред бесконечным временем
 И расстояньем...

7

.....

 Но современник
 Великий —
 Был Царем безжалостным —
 Прощен
 Обласкан дамами
 И —
 Ко Двору приближен

А после —
 В Орден Рогоносцев посвящен
 Стрелялся
 И — убит
 Но — не унижен...

8

Соломой застлана дорога
 А ты —
 Лежишь на ложе смертном
 И —
 Проплывают мимо окон
 Бесшумно
 Как во сне
 Телеги
 И —
 Присмирившие кареты

А утро —
 Стынет льдиной серой

.....

 А у дверей —
 Толпа немая
 Чуть запорошенная снегом...

И —
 Ничего они не знают
 Но чувствуют —
 Стряслось Несчастье

.....

 ...Сейчас
 Все хором —
 Зарыдают...

9

Над чем —
 Им не дано
 Да и не надо знать...

.....

...Поэт Российский —
 Что дурак на паперти
 Юродствует
 Веригами звеня
 И —
 Прославляет
 Непорочность Божьей Матери
 Власть задирая
 И —
 Судьбу кляня...

.....

В забвеньи суждено им умирать
 Ценою крови —
 Славу выкупать

10

— Вы здесь — свои
 А я —
 Чужая
 Я — никогда
 Своей не буду...

Кружатся листья над бульваром
 Дымится стылая вода
 И —
 Стены серые замкнули
 Собой
 Просторы горизонта
 И ветер
 Чуть приподымает
 Вуаль жемчужную дождя

.....

— Давно не до вуалей мне
 Мой друг
 Нет нужды
 Платьем восемнадцатого века
 На званом вечере
 Болванов удивлять

И мужа —
 не найти
 Дай —
 к чему искать?

В те десять лет
 "Без права переписки"

О чем
 Ему я стала бы писать?

Что —
 Вот, совсем одна
 Что —
 Нету больше сил?
 Что —
 Лебеди ушли?
 Что —
 Дети погибают?

.....

В тот раз Господь
 Одну
 Из-под моей руки
 Прибрал...

Теперь —
 С другой —
 Боюсь — и Он не знает
 Что станется

А сын...

.....

11
 Но -
 Не увидеть вам
 Своими
 Тех
 Кто всю жизнь —
 Наперекор
 Кому
 Поэтом быть —
 Не имя
 Профессии...

Кто —
 На костер готов за Слово
 Кто —
 Стихами
 Не платит дани упырям...

Босыми —
 По огню —
 Ногами

И —
 Смертью отстоять себя.

12
 Но —
 Не застелят дорогу соломою
 Не соберется
 Толпа у дверей
 Вынесут тихо
 Похоронят

Никто
 Не запомнит —
 Где

13
 И где
 Твоя могила —
 не расскажут
 Мой спутник грустный
 Мой великий друг
 И —
 Некому теперь припомнить даже
 Последний взмах
 Твоих крылатых рук...

14

ФИНАЛ

Счастье небывшего чуда —
 С тобою нечаянно встретиться
 Право поэта —
 Греза
 Или — самообман

На улицах старых
 Города
 Дом в тумане осветится
 Гулкая зала
 Вечер
 Жаркий камин
 Тишина...

1
 Неслышной тенью в узенькую щелку
 Скользну
 И рядом сяду у огня
 Прищурившись на бьющееся пламя

Рукою легкою
 Коснись меня
 Но —
 Не гони...

Проходит перед нами
 Минувшее
 Неспешной чередой
 Картин
 Ушедших за рубеж воспоминаний
 Средь яростно пылающих углей

2

Когда-то
 Были дюжины друзей
 И путь прямой

Казалось —
 Предначертан
 Мы верили —
 Щедрее и добрей
 Мы ждали —
 Неожиданных свершений

Был труден
 Каждый день
 И —
 Каждый шаг
 Дорога —
 В гору уходила круто

Что нас вело
 Неведомо куда
 Не знали мы
 Да —
 Было и не нужно

Как злобным волшебством порождены
 Срывались сверху
 Тяжкие лавины
 И —
 Вырастали новые хребты...

Но —
 Вспять не повернуть
 Но —
 Груз не скинуть

Беззвездной ночи
 Плотный душный плащ
 Спустился
 Неожиданным затмением
 А утром —
 Все исчезли
 Я одна
 Одна в пустыне —

Скалы
 Да камня
 Да темной пропасти пугающий провал...

.....

И —
 Некого позвать к себе на бал
 И —
 стол накрыть —
 Вот в этой самой зале...

З
 Но —
 Меркнет зала

Темен нищий дом
 Огонь трещит
 И —
 Отблеск на портьере
 Простор степной
 За крошечным окном
 То —
 Миру светлому печальная замена
 Безжалостно
 Реальность в дом вошла

Стены промерзшей ласка
 Ледяная
 И —
 Я смотрю в огонь
 Одна
 Одна...

БОРИС ХАЗАНОВ
Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

ОДНОТОМНИК ИЗБРАННОЙ ПРОЗЫ 352 стр.

Однотомник избранной прозы Бориса Хазанова включает три произведения, которые объединены общей темой. Эта тема — "антивремя", эпоха, давшая жизнь поколению, чье детство и юность протекли в промежутке между двумя мировыми войнами. Вместе с тем антивремя — это время, обращенное вспять, упорядоченное нашей памятью и как бы переживаемое заново.

Повесть "Час короля" — история вымышленного миниатюрного государства, оккупированного нацистской Германией.

"Я Воскресение и Жизнь" — семейная драма, в центре которой стоит ребенок.

"Антивремя" — роман, действие которого, как и в предыдущей повести, происходит в Москве. Это история любви, связавшая трех молодых людей и рассказанная много лет спустя ее единственным оставшимся в живых участником. В роман вплетена тема "двойного отцовства" — русского и еврейского, которая становится частью общей темы исторической судьбы страны. Написанная в конце 70-х годов, книга вместе со всеми черновиками была арестована КГБ и позднее написана автором заново.

Все три произведения Бориса Хазанова, писателя, работающего в современной аналитической манере, с использованием многозначной символики и фантастики, но пишущего ясным, лаконичным и гармоническим языком, воспроизводят одну и ту же жизненную ситуацию — одиночество человека, отстаивающего свое достоинство перед грозными силами неумолимой Истории, деспотического Государства и своего собственного душевного подполья. Книги Бориса Хазанова не относятся к роду политической, идеологической, националистической или какой-либо иной ангажированной литературы, "Душа мытарствуется по России в XX веке" — в этих словах Блока заключена вся его программа.

Заказы и чеки присылайте на адрес издательства:

Time and We

475 Fifth ave, suite 511-A, New York, New York, 10017

Цена 15 долларов, включая пересылку

ПУБЛИЦИСТИКА.
СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

О ТЕЛЕ И ДУХЕ, ИЛИ О НАШЕЙ ЭМИГРАЦИИ

Моя повседневная жизнь протекает в типичном американском городке, именуемом Леония и расположенном на востоке штата Нью-Джерси, в десяти милях от Нью-Йорка. Но если быть откровенным, пять лет жизни в Леонии на типичной американской улице, именуемой Хайвуд авеню, ничуть не сблизили меня с американским окружением.

В своем "Театре абсурда" я уже писал о том, как каждое божье утро соседи, выходя из своих домов, с солнечной улыбкой приветствуют меня: "How are you?" И как я с той же улыбкой отвечаю: "Fine". На этом наши отношения кончаются.

За пять лет никто из соседей не постучался ко мне в дом, не спросил, не надо ли чего, не поинтересовался кто я, не представился сам. Да и вообще соседей я почти не вижу, а вижу лишь их паркующиеся в гаражах машины.

Хайвуд авеню — самая живописная улица в Леонии. Но я не припомню, чтобы кто-то из них хоть раз вышел прогуляться,

побродить по ней. Из их домов я не слышу ничего, кроме звуков телевизоров. Я не припомню, чтобы там хоть раз раздался хохот или чтоб кто-то зарыдал, или затеял громкий спор, или хоть повысил голос. Вот так они и живут — изо дня в день. Не знаю — плохо, хорошо ли, но уж точно — не так, как я, или любой из моих друзей.

Когда я говорю "они", то имею в виду не только обитателей Хайвуд авеню. Если можно представить людей, диаметрально противоположных нам, выходцам из России, то, думаю, ими и явятся американцы, которые в своем большинстве похожи на моих соседей по Хайвуд авеню.

Живу я в этой стране и удивляюсь ее обитателям — они не купаются в озерах и реках, а только в бассейнах, не ходят по грибы и ягоды (что для меня высшее наслаждение), обожают гамбургеры, которые я не могу взять в рот, не спорят о политике и литературе, я же при случае могу просидеть за этим занятием до петухов. И давая доллар на голодающих Африки, обязательно требуют квитанцию, по-американски "ресит".

Недавно мне попалась кассета для изучения английского, где в качестве грамматического примера была приведена прямо-таки замечательная фраза, которая в переводе на русский звучит примерно так: "Те, кто в трудную минуту оказывают помощь беднякам, получают моральное удовлетворение и право на списание с налога".

Звучит эта фраза для нашего уха, прямо скажем, несколько диковато: душевный порыв — и тут же деньги, списание с налога. Но уху американца она вполне привычна и не известно еще, что в этой великой стране большая ценность — мораль или успешный бизнес.

Впрочем, я не пишу сейчас о величии Америки и о том, что она была создана умом, энергией и волей американцев. Я вообще далек от того, чтобы морализировать на тему: какие "они" и какие "мы", "осчастливившие" эту страну своим приездом. Я хотел сказать лишь то, что сказал, — насколько

"они" и "мы" разные. Образно говоря, мы очутились на Марсе и, если хотим выжить, то обязаны жить по законам новой планеты. Теоретически эта задача более чем ясна, ибо стояла она во все времена и перед каждым, кто вступал на американскую землю. Воздадим же должное нашей эмиграции: похоже, она это поняла и взялась за дело с огромной энергией.

Поначалу не было даже времени приглядываться, какие "они", наши новые соотечественники, — похожие на нас, непохожие... Надо было выжить, вырваться, научиться делать деньги — высшему из искусств, которым владеют американцы. И в этом наша эмиграция преуспела. Я бы даже сказал, чересчур преуспела. За короткий период из ее среды вырос "новый класс," если хотите, новая буржуазия — из среды вчерашних советских людей. И хотя это был поразительный феномен, "новый класс" не попал в камеры телевизионщиков. Похоже, он вообще оказался вне поля зрения общества. Телевизионщиков интересовали сенсации. Их занимали одиночки — чтобы русские, изъяснявшиеся на чудовищном английском, могли подразвлечь пресыщенных телезрителей: неважно как, — позируя ли перед камерой в компании четвероногих, или покупая на фуд-стэмпы горы продуктов и рассуждая о своей несчастной судьбе в Америке (там хоть КГБ тобой интересовалось, а здесь ты вообще никому не нужен). Вы верно догадались, что речь идет о фильме "Русские уже здесь", и, конечно, помните протестующие голоса о том, что мы совсем не такие, что фильм очернил русскую эмиграцию. И это было в сущности справедливо. Большинство и впрямь не было таким. Большинство в те дни набирало силу. В каждой области появлялись преуспевающие бизнесмены — владельцы ресторанов и кафе, успешные врачи и адвокаты. Они шли наверх и не были шокированы общественным невниманием. По существу это был а м е р и к а н с к и й "новый класс, который, как и все жители этой страны, успешно делал деньги. Даже более успешно, чем многие аборигены.

Но американцами эти люди стали лишь с одной точки зрения. А с другой — по своей психологии или, как теперь говорят, по своей ментальности, — они так и остались р у с с к и -

м и э м и г р а н т а м и , точнее, застряли посередине между эмиграцией и Америкой.

Они утратили контакты с еврейскими организациями, которые привезли их в США. И что самое удивительное — в каких бы кругах они ни вращались, где бы ни служили, — пусть даже в самой американской из всех американских фирм, — они не поддерживают, или почти не поддерживают, связей с американцами — ни с простыми, ни с высшим светом, ни с соседями, ни с коллегами по работе. Точнее, — эти связи даже не возникают (есть, конечно, исключения, но они лишь подтверждают правило).

Что же получается? Получается то, что происходило со всеми эмиграциями: образовалось духовно-этническое гетто, оторванное от социально-культурной жизни Америки. Я знаю, что с этой мыслью трудно смириться, особенно тем, которые, сойдя с самолетного трапа, еще в аэропорту Кеннеди, преисполнились желанием стать американцами, но и по сей день остаются "русскими". Несмотря на свой "американский прононс", несмотря на все свои доходы, дома и счета в банках.

Впрочем, для первого поколения пришельцев это не так уж противоестественно. Так было всегда. По-видимому, лишь нашим детям будет дано стать настоящими американцами. Куда интереснее сама предоставленная нам возможность жить так, как мы живем, возможность оставаться "русскими" и в то же время ощущать себя американцами. Не есть ли это высшее проявление свободы? — Свободы быть самими собой, обитая в гуще, пока еще далекого нам американского общества.

До эмиграции я несколько лет прожил в подмосковном поселке Быково, зеленом и живописном, ну вроде, как в подмосковной Леонии. Был это во всех отношениях типичный советский поселок — со своей милицией, отделением ГБ, партийными и советскими организациями. И вот представляю, если бы в тогдашнее Быково на Первомайскую улицу, где я жил, в один прекрасный день въехал на кадиллаке американец, подобно тому, как я на своем старом "бьюике" появился на Хайвуд авеню, в центре Леонии. Пусть бы он был тишай-

шим из всех американцев и архилоялен к советской власти, — ручаюсь, что наутро возле его дома вырос бы переодетый гебешник. А если бы он вздумал развезать по Быкову на кадиллаке да еще выкрикивать по утрам подозрительные английские фразы (вроде: How are you?), то представляете, что могли бы сотворить с этим тишайшим американцем органы КГБ вкуче с партийными и советскими организациями.

Я же в своем доме на Хайвуд могу творить все что ни за благорассудится — никакой ни мэр, ни шериф, ни полисмен не вправе переступить мой порог. Даже если охваченный ностальгическим угаром я всю ночь буду глушить "Столичную" и распевать "Выходила на берег Катюша..." В своем доме на Хайвуд авеню, со своим ужасным английским и нездешними российскими замашками я полноправный житель Америки. Такой же, как и мои соседи, которые уже Бог весть в каком поколении живут в Леонии.

Впрочем, все это литература. Меня не мучает ностальгия. Я не пью ночами водку и из головы давно уже выветрилась некогда легендарная "Катюша". Не литература — лишь то, что мы наконец обрели вожеленную истинную свободу — свободу в любом окружении и при любых обстоятельствах оставаться самими собой. Мы создали свой особый микромир — ни русский, ни советский и в чем-то совсем не американский — и вот уже который год в нем живем.

Выше я ввел понятие "новый класс". Понятие чисто условное. Ибо речь идет о большинстве советских эмигрантов, которые, как я уже сказал, на наших глазах превращаются в типичных современных буржуа. Об этой занятной метаморфозе, не известной даже много повидавшей Америке, не написано ни одного исследования. Эту тему старательно обходят эмигрантские писатели. Да и что вообще мы знаем о жизни "нового класса"? Кроме того, что огромное большинство купили дома и квартиры, путешествуют по миру, имеют по две машины, ищут куда бы вложить деньги... На вопрос, как они чувствуют себя в Америке, неизменно следует ответ: "Fine!" "Прекрасно!" И тотчас следует разъяснение, ну например: "Ах как хорошо, что я уехал оттуда! Кем был я там? Да никем! А

здесь у меня бизнес. За один прошлый год сделали с женой сто тысяч!" — и так далее и тому подобное. Недовольных я почти не видел. Недовольные предпочитают молчать. Логика этого умолчания более чем понятна — если ты и в Америке не смог чего-то добиться, то какова цена тебе самому?

Но чем живут эмигранты из "нового класса"? Что за дух господствует в их среде? О чем говорят, когда собираются? И что, в конце концов, у них на душе? Что касается разговоров, то говорят о разном. Точнее, начинают с разного — с высокопарных тостов за веселым застольем, с признания в любви к благословенной Америке ("Мы эту землю целовать должны!"), с пожеланий друг другу прожить до ста лет... С этого начинается. А чем обычно кончается? Из чисто спортивного интереса я проследил, чем закончились несколько вечеринок, на которых я недавно побывал. На первой спорили до хрипоты, как и куда лучше вкладывать деньги — в "стак маркет" или в "реал эстейт", на другой — с разных сторон обсасывали тему "такс дидакшен", что и как списывать с налогов. В третий раз, кажется, говорили об "иншурэнсах". К слову замечу, что и я тут не был белой вороной. Искусство списания с налогов увлекло и меня, и не было с моей стороны ни малейшей попытки перевести этот содержательный разговор ну, скажем, на Мандельштама или Высоцкого или на сегодняшнюю трагедию Польши. Да и сделай я такую попытку, — чем бы она кончилась? Может ли состязаться этот оставшийся в прошлой жизни Мандельштам с такой волнующей нас темой, как "такс дидакшен"?!

Я прошу прощения у читателя за всю эту лексику, за эти "такс дидакшен", "реал эстейты", "иншурэнсы", но без них мне никак не обойтись, ибо все эти дебаты велись не на русском, не на английском, а на каком-то чудовищном эсперанто, который один мой знакомый — большой знаток лексики нашего славного Брайтона — спародировал в следующем и, уж извините, не совсем печатном пассаже: "Три часа драйвил по хайвею. Понял? На этот еб—ый апойтмент. Под конец столыник схлопотал за спидинг. А профиту — ни х-я, зироу!" Конечно, это пародия, но как близок к ней наш повседневный

живой эмигрантский язык! Все эти чудные "эстимейшен", "апликейшен", "компенсейшен", "такс дидакшен"... Этот народившийся в среде нашей "новой буржуазии" американо-нижегородский воляпюк не просто форма, а свидетельство весьма опасного процесса, разъедающего эмигрантскую среду. Не овладев по настоящему английским, мы с поразительной быстротой теряем русский язык, а вместе с ним и русскую культуру. И если еще недавно мы с гордостью демонстрировали, как наши дети, едва научившись лепетать, декламировали Пушкина, то сейчас среди их бесспорных достижений мы с затаенной гордостью сообщаем и о таком: "Ах, Сенечка! Какой у него английский! Какой английский! Да он уже не знает ни слова по-русски!" Поистине о времена, о нравы!

Пишу о культуре "нового класса" и невольно думаю: все в сущности возвращается на круги своя. Наш "новый класс" явление не новое, и сегодняшняя ситуация как две капли воды напоминает ту, что сложилась до войны в среде первой эмиграции и которую блестяще проанализировал В.Ф.Ходасевич в своей статье "Перед концом". "Эмиграция, — писал он, — делится на три категории людей: на тех, кто покупать книги не хочет и не может, на тех, кто хочет, но не может и, наконец, на тех, кто может, но не хочет. В существующем положении вещей виноваты, конечно, эти, последние... Один этот слой, если бы он ощущал внутреннюю потребность в книге, мог бы поглотить всю нашу небольшую книжную продукцию. Он этого не делает... Русские книжные магазины пустуют, тогда как русские и нерусские рестораны и кафе переполнены русскими ежедневно и ежевечерне".

Кажется, Ходасевич пишет не в тридцать шестом году, а в восемьдесят пятом, и не о довоенной Франции, а о сегодняшнем Нью-Йорке, о Бруклине, где рядом с единственным на весь Бруклин маленьким книжным магазином "Черное море" пирует, пьет, гужует, сорит деньгами наш "новый класс".

Подобная антикультура, которая рождается в эмигрантской среде, не может не действовать удушающе и на читателей,

и еще больше на наших литераторов. Когда-то Марк Алданов в статье "О положении эмигрантской литературы" восхищался свободой, которой пользуются эмигрантские писатели. "Мы пишем что хотим, как хотим и о чем хотим, — подчеркивал Алданов. Социальный заказ для эмигрантской литературы существует лишь в весьма фигуральном смысле, в степени незначительной и нестрашной. Социального же гнета нет никакого, как нет цензуры и самоцензуры". Ходасевич возражая ему, писал, что в эмиграции нет социального заказа лишь в смысле политическом, но в смысле интеллектуальном и эстетическом он весьма ощутим и в этом вся наша беда. От эмигрантского писателя требуется, чтобы его произведения в идейном и художественном смысле были примитивны и устарелы. Тем самым из поля зрения читательской массы вычеркивается литературная молодежь, которая отпугивает самой новизной своих имен. Тому же закону поддаются и журналы. Издания молодых не читаются вовсе. Из старших изданий читаются худшие... Словом, — заключает Ходасевич, — мы на самом деле пишем что хотим, как хотим и о чем хотим, но за эту свободу мы расплачиваемся отсутствием читателей. Можно бы сказать, что если у нас нет социального заказа в том смысле, в каком он понимается в Советской России, то вместо него со всей силой свирепствует социальный отказ, "диктуемый цензурой застоя и дурного вкуса".

Вся история журнала "Время и мы" или, скажем, литературные судьбы таких блестящих писателей, как Саша Соколов, Борис Хазанов, Фридрих Горенштейн, — есть в сущности повторение судеб лучших писателей первой эмиграции и еще одно подтверждение трагической судьбы, которую снова переживает русская литература в изгнании.

И тут важно понять, что судьба писателей и отношение к ним эмигрантской публики, — есть зеркальное отражение духовного облика самой эмиграции, того самого "нового класса", который празднует сегодня свой взлет в американском обществе.

Да, наша эмиграция проявила чудеса, ища себе место под солнцем Америки. Мы оказались гениями выживания в сво-

ей заботе о крове, пище и благоденствии. Но не хлебом единым жив человек и совсем не случайно я назвал свое эссе "О теле и духе". Мой вопрос прям и однозначен: что составляет духовную жизнь эмиграции? В прошлое ушли лозунги, с которыми мы приехали в эту страну — что мы хотим жить еврейской жизнью (где вы, вчерашние сионисты?) или что хотим освободить Россию (где вы вчерашние диссиденты?). Это неприятно сознавать, но, похоже, мы воспользовались единственным благом свободы. Забота о собственном благе стала нашим высшим и единственным Демиургом и, может быть, этим мы и отличаемся от окружающих нас американцев, у которых, кроме их бизнеса, долларов и стак маркетов, есть еще и Бог, которого нас лишили еще в той жизни. Духовными скопцами мы прибыли в мир, где без Бога и идеалов человеку так же безмерно тяжело, как и без денег. А может, и тяжелее, ибо в трудную минуту с деньгами поможет государство, не дав погибнуть нашему брэнному телу. Но нет такого "велфейера", который поддержал бы наш дух и в дни тяжких страданий сделал бы нашу жизнь духовно богаче. Впрочем, время поставить точку. Религию не подсказывают. Идеалы не рекомендуют. Человек сам располагает своей судьбой, сам ищет собственного бога и, лишь найдя его, обретает покой и волю.



Владимир СОЛОВЬЕВ
Елена КЛЕПИКОВА

ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОЛЬШЕЙ

Польшу нельзя расстрелять, нельзя повесить ее, следовательно, силою ничего прочного, ничего окончательного сделать нельзя. При первой войне, при первом движении в России, Польша восстанет на нас, или должно будет иметь русского часового при каждом поляке. ...Какая выгода России быть внутренней стражей Польши? Гораздо легче при случае иметь ее явным врагом.

Петр Вяземский. Запись в секретном дневнике
14 сентября 1831 г. во время антирусского
восстания в Польше.

Как это ни странно прозвучит, Кремлю легче было захватить новую страну, чем удержать в повиновении такого неуправляемого сателлита, как Польша. Советская армия, которая в канун 1980 года в три дня оккупировала Афганистан, спустя десять месяцев застыла в нерешительности на границе с Польшей, хотя начиная с августа 1980 года, когда там были образованы свободные профсоюзы "Солидарность", страна неудержимо удалялась от метрополии.

Глава из новой книги. Copyright Соловьева и Клепиковой.

Предлагая вниманию читателей статью В.Соловьева и Е.Клепиковой, редакция считает ряд ее положений спорными.

В Кремле могли себя успокаивать историческими аналогиями — таково уж свойство этой самой непокорной провинции русской империи, Россия ее постоянно теряла, но каждый раз с помощью оружия возвращала обратно. Со времени ее раздела в 1795 году не было ни одного русского императора, а после большевистской революции ни одного советского вождя, которому не пришлось бы столкнуться с польским вопросом во всей его остроте. Причем решение этого болезненного вопроса не зависело от того, кто стоял у власти, а диктовалось исключительно интересами самой империи. Польское восстание 1831 года подавил император Николай I, который и у себя дома был жесток и крут, за что и получил прозвище Николай Палкин. Однако не менее жестокое усмирение Польши произошло в 1863 году при его либеральном сыне императоре Александре II, который за два года до этого отменил в стране крепостное право.

Столь же удивительное единство обнаруживаем мы и в нашем столетии: интернационалист и прагматик Ленин послал в 1920 году только что сформированную Красную армию на штурм Варшавы, а тиран, диктатор и шовинист Сталин, словно беря реванш за неудачу этого похода, в котором он лично участвовал, в два приема — до второй мировой войны сговором с Гитлером, а после нее сговором с Рузвельтом и Черчиллем — окончательно прибрал Польшу к русским рукам.

Окончательно?

С конца XVIII века польские восстания стали перманентным явлением русской истории. В некотором смысле это был порочный круг, и можно сказать, что одинаково сизифовыми были и польские восстания и русские подавления. Это была война, в которой не было окончательного победителя, и вечный девиз польских патриотов — "Не сгинела Польшка" — наталкивался на вечный инстинкт самосохранения сначала русской, а потом советской империи. Словно бы Бог создал Польшу русским в назидание — как намек на мнимость обладания, особенно имперского обладания, ибо принадлежность Польши России всегда была и остается под знаком вопроса. "За союзниками нужно было так же зорко смотреть,

как и за врагами”, — писал Сергей Соловьев в 1872 году, а кажется, что это сказано недавно по поводу стран Варшавского Пакта. Наверно, и Россия есть какой-то тайный знак Польше с небес, и можно даже догадаться какой, но это не входит в обязанности авторов, ибо они пишут книгу о тайнах Московского двора, а не Варшавского. Хотя их тайны и переплетены между собой в gordiev узел.

По сравнению с польским перманентным восстанием, которое вот уже почти два столетия сотрясает основы русской империи, венгерский кровавый бунт 1956 года и чехословацкая джентльменская революция 1968 — детские игры. Ни у венгров, ни у чехов не было исторической, утробной ненависти к русским — свою квоту ненависти эти народы израсходовали на австрийцев и немцев, о чем не могут сейчас не жалеть. Ненависть к русским у них благоприобретенная, в то время как для поляков — это главный стимул их исторического развития.

Где-то на рубеже XVI-XVII веков у России и Польши были одинаковые шансы для создания великой империи — пожалуй, у Польши даже поначалу большие (Уния с Литвой и создание Речи Посполитой, имперские амбиции Стефана Батория, успешное соперничество с русскими из-за Украины, вплоть до захвата русского престола польским ставленником, известным в русской истории под именем Лжедмитрия, когда польские офицеры чувствовали себя в Москве вольготнее, чем в Варшаве и т.д.). На узкой исторической тропинке этим народам было не разойтись мирно — кто-то должен был взять верх, а кто-то уступить, стать империей или стать колонией.

Еще неизвестно, кому в исторической перспективе повезло больше. Не говоря уже о том, что империя это ноша, под которой сгибаются даже великаны, угроза польской независимости со стороны России ничуть не больше сейчас, чем угроза самому существованию русской империи от покоренных либо обиженных ею народов — польского в первую очередь. Поэтому каждое новое брожение в этой стране ставит вопрос не только о том, быть или не быть независимой Польше, но и о том, быть или не быть русской империи. Это понимают в обе-

их странах — на обоих уровнях — правительственном и народном.

Что это именно так, можно судить по первому шагу, который предпринял Кремль в ответ на гданьские забастовки летом 1980 года: Советский Союз отгородился от польских востей, начав тотальное глушение зарубежных радиостанций вещающих на русском языке — “Голоса Америки”, “Немецкой волны”, Би-би-си. Чтобы оценить эту меру, подыщем ей точную визуальную метафору — Советский Союз соорудил еще одну Берлинскую Стену, на этот раз по всему многотысячечемильному периметру своих границ, чтобы только не допустить в страну свободной информации о польских событиях. Польский кризис был причиной и одновременно поводом для глушения — уже после установления в Польше военного режима генерала Ярузельского глушение продолжалось и продолжается по сю пору.

Бросим, однако, последний взгляд на историю русско-польских войн, которая насчитывает несколько столетий с рядом весьма чувствительных для русского имперского самолюбия поражений — от взятия Москвы в начале XVII века до взятия Киева и Минска и унижительного разгрома Красной армии под Варшавой в 1920 году (так называемое “чудо на Висле”). Национальная катастрофа в Катынском лесу, под Смоленском, где по приказу Сталина были расстреляны отступившие от немцев 4.321 польский офицер, была вызвана традиционным военным страхом русских перед поляками, усугубленным личным опытом советского тирана, который вообще большим мужеством не отличался. И не этот ли двойной страх перед Польшей — традиционный русский и личный сталинский — послужил также причиной невмешательства, а по сути предательства русскими поляков, когда Красная армия безучастно наблюдала в бинокли с одного берега Вислы, как на другом ее берегу, на расстоянии всего нескольких сот метров, немцы казнили восставшую Варшаву и в конце концов стерли ее с лица земли?

Само Варшавское восстание было результатом тщательно обдуманной советской провокации. За два дня до него совет-

ская радиостанция обратилась к населению Варшавы с призывом: "Поляки, час освобождения близок! Поляки, к оружию! Не упускайте момент!" Мало того, что Сталин не отдал приказ форсировать Вислу, чтобы помочь находившейся шестьдесят три дня в круглосуточной обороне польской столице, он воспрепятствовал также помощи союзников, а в письмах Черчиллю и Рузвельту называл восставших патриотов "бандами уголовников, пустившихся в варшавскую авантюру с расчетом захватить власть".

Катынь стала символом и лозунгом польской русофобии. Когда Хрущев в своем крестовом походе против мертвого Сталина хотел публично признать русскую вину за Катынскую трагедию, то даже Владислав Гомулка, лидер польской "Октябрьской революции" 1956 года воспротивился этому: в случае такого признания он оказался бы не в силах сдержать напор антирусских эмоций в стране. По сию пору Катынская трагедия в обеих странах официально приписывается немцам.

Владислав Гомулка был единственным польским коммунистическим лидером, уцелевшим после того, как накануне войны Сталин распустил компартию Польши под тем предлогом, что в ее руководство проникли "вражеские агенты": "Они, как яблоко, — красные снаружи и белые внутри", — говорил Сталин о польских коммунистах. Польские коммунистические лидеры были вызваны в Москву и все расстреляны, а Гомулку спасло только то, что в это время он отбывал семилетний срок за коммунистическую деятельность в польской тюрьме. Однако Сталин о Гомулке не забыл, и в 1949 году извлек его из сомкнутой когорты послевоенных польских коммунистов-сталинистов, среди которых Гомулка, действительно, был белой вороной, и посадил его за "титоизм" и "националистический уклон". И снова Гомулке повезло: в отличие от других восточноевропейских коммунистов — венгра Ласло Райка, чеха Рудольфа Сланского, болгарина Трайчо Костова — он не был казнен и на волне десталинизации и оттепели вернулся к власти.

В 1956 году, как только стало известно о переменах в польском руководстве, дислоцированные в Польше и на польской

границе советские войска двинулись к Варшаве, а рано утром 19 октября 1956 года на военном аэродроме вблизи польской столицы, без предупреждения, приземлился советский самолет, из которого вышли Хрущев, Микоян, Молотов, Каганович и маршал Конев. Они сели в машины, которые помчали их сквозь еще спящую Варшаву к Бельведеру, великолепному президентскому дворцу постройки начала прошлого века, где они лицом к лицу столкнулись с польскими руководителями.

"Предатели! — сходу закричал Хрущев, ни с кем не здороваясь и избегая рукопожатий. — "Мы проливали за освобождение Польши кровь, а вы, сговорившись с сионистами, хотите отдать ее американцам. Но вам это не удастся! Этого не будет! Мы не позволим!"

В это время Хрущев заметил среди поляков незнакомца, такого же лысого, как он сам:

— А ты кто такой?

— Я тот самый Гомулка, которого вы три года держали в тюрьме, а сейчас препятствуете возвращению к политической жизни.

Так состоялось первое знакомство двух главных реформаторов Восточного блока.

Меж тем советские войска приближались к польской столице, и когда советские аргументы против поляков были исчерпаны, Хрущев недвусмысленно заявил, что спор в таком случае будет решен Советской армией. Однако Гомулка учел и этот вариант и сказал Хрущеву, что студентам и рабочим варшавских заводов уже роздано оружие. Роли поменялись — с позиции силы теперь выступал новый польский лидер. Его последний ультиматум Хрущеву был:

"Немедленно выводите ваши войска! В противном случае мы прекратим с вами переговоры и возглавим польский народ в борьбе с оккупантами".

Хрущеву ничего не оставалось, как дать приказ войскам приостановить наступление на Варшаву.

События в Польше, как известно, подхлестнули восстание венгров. Уже после его подавления некоторые полагали, что

венгры спасли поляков, приняв на себя весь удар советской империи, которая неспособна была подавлять одновременно два очага сопротивления. Скорее все было иначе: Россия отыгралась на венграх, восстановив в Будапеште свое имперское самолюбие.

Придя к власти, Гомулка — помимо экономической и политической децентрализации, ослабления цензуры, роспуска колхозов, религиозной либерализации (в том числе освобождения из тюрьмы примаса Польши кардинала Стефана Вышинского) — провел радикальные изменения в армии, превратив ее в главную опору польской независимости. Прежде всего он выгнал из Польши советского военного губернатора маршала Рокоссовского. В армии была проведена капитальная чистка, устранены все советские генералы и офицеры, занимавшие командные посты. Их заменили поляки, среди них "содельники" Владислава Гомулки. Новому польскому лидеру позарез нужны были молодые кадры в армии, верные духу реформ и патриотически настроенные. В это время и было присвоено звание бригадного генерала 33-летнему Войцеху Ярузельскому, несмотря на его анкетные данные — его дед погиб, сражаясь с русскими в 1920 году, мать была еврейкой, отец Мичек уничтожен в советских лагерях, в то время как сам Войцех, выпускник элитарного иезуитского лицея в Варшаве, был сослан русскими в Сибирь и работал сначала шахтером в Караганде, а потом лесорубом на Алтае. На покрытых ослепительным снегом вершинах Алтая он и сжег веки, испортив зрение, — и теперь вынужден носить темные очки. Правда, спустя несколько лет, Войцеху удалось закончить офицерскую школу в Рязани, на юго-востоке от Москвы и вскоре он уже сражался в польской Второй армии генерала Зигмунта Берлинга против немцев, бок о бок с советскими солдатами: вряд ли это была просто дань военной традиции в семье Ярузельских, — скорее сознательный и мучительный выбор между двух зол, выбор, который не раз будет впоследствии стоять перед Войцехом Ярузельским. И хотя из двух зол Ярузельский выбрал Россию, тем не менее порочащие, по советским стандартам, "пятна" в его биографии ос-

тались. Но в раннюю эпоху Гомулки они выглядели уже достоинствами и служили своего рода гарантией порядочности и патриотизма — отчасти благодаря им Ярузельский и стал самым молодым в польской армии генералом.

Отметим сразу же: резкие скачки в военной и политической карьере Ярузельского приходились на переломные моменты в истории его родины — на время освобождения Польши от немцев; на "весну в октябре" 1956 года, когда Владислав Гомулка воскресил надежды поляков; на конец 1970 года, когда новый руководитель Эдвард Герек освободил министра обороны Войцеха Ярузельского из-под домашнего ареста — он был арестован за отказ подчиниться партийному приказу и использовать войска для подавления беспорядков в портовых городах на Балтийском побережье: "Польские солдаты не будут стрелять в польских рабочих!"; и наконец, на начало 80-х годов — на волне реформистских движений, так или иначе связанных с "Солидарностью", когда профессиональный военный вынужден был освоить новую специальность — стать политиком.

Если быть точным, то начало последней польской революции следует пометить не гданьскими забастовками, которые привели осенью 1980 года к образованию "Солидарности", а двумя годами раньше — 16 октября 1978 года, когда белый дым из трубы Ватикана известил *urbī et orbī* об избрании новым Римским первосвященником краковского кардинала Карола Войтылы, который с первых же своих проповедей на площади Святого Петра стал призывать к политической и религиозной свободе на своей родине. А к осени 1980 года Польша уже погрузилась в очередной, выражаясь словами поэтессы Анны Камиенской, "бред невозможных возможностей", когда низы не хотят, а верхи не могут жить по старому, если пользоваться классическим определением Ленина революционной ситуации. Прежнее руководство страны во главе с Герекком пало, забастовки и демонстрации парализовали экономическую жизнь страны, добытые "Солидарностью" свободы быстро превращались в политическую анархию, с которой не мог уже совладать ни Лех Валеса, ни польская цер-

ковь, — никто. Происходил опасный процесс перекачки власти из рук партийных бюрократов в руки уличной толпы, без каких-либо промежуточных звеньев, ибо демократические институты в Польше отсутствовали.

Дело в том, что у этой страны вовсе не такие простые, не такие свойские отношения с демократией, как, скажем, у США или Голландии. В прошлом свобода в Польше часто превращалась в бесконечные словопрения и политическую анархию, прекратить которые под силу было только диктатуре. Было даже время — XVII-XVIII века, когда сейм был неспособен принять какое-либо решение из-за права вето у каждого его депутата: так называемое "либерум вето" — персональный вклад Польши в развитие демократии, которым, естественно, никто больше не воспользовался (если не считать Совета Безопасности ООН, который благодаря праву вето у пяти его постоянных членов превратился в немощный и бессмысленный орган). Именно из-за неготовности поляков разумно ограничить свои свободы Польша и потеряла свою независимость в конце XVIII века (помимо этих внутренних причин, были, естественно, и внешние). А короткий период польской независимости между двумя мировыми войнами ознаменовался государственным переворотом 1926 года и установлением бывшим социалистом Йозефом Пилсудским военной диктатуры — "санации".

Генерал Ярузельский знал, к чему приводит анархия. В интервью с Волтером Кронкайтом он вспомнил о политическом хаосе, охватившем именно в это время Иран. Он поостерегся, однако, упомянуть о том, что с Ираном его страну роднила не только уличная анархия, но и религиозный фанатизм. Несомненно, церковь в Польше больше, чем церковь, но трактовать это в одностороннем порядке было бы опасным упрощением. Церковь — средоточие и знамя польского национализма, противовес давлению оккупантов, она не раз помогала полякам выжить как нации, но одновременно она отгораживает эту нацию от западной цивилизации. К примеру, жестокая борьба за право вывешивать в государственных школах распятие — следствие непонимания ими разделен-

ности церковных и государственных функций. Если бы польским политически-религиозным инстинктам дано было свободно развиваться, не исключено, что на европейской карте появилось бы вовсе не демократическое государство западного образца, но религиозная автократия на манер Ирана аятоллы Хомейни. Так что для тревоги генерала Ярузельского были все основания.

К этому добавлялся экономический фактор, который было уже невозможно игнорировать. Именно к этому времени относится анекдот о том, как папа Иоанн-Павел II спрашивает Бога, доживет ли он до того дня, когда польская экономика выйдет из кризиса, на что Бог ему сокрушенно отвечает: "Не только ты, но и я не доживу".

Парадокс заключался в том, что пятьсот дней долгожданной свободы — начиная от гданьской забастовки в августе 1980 года до военного переворота в декабре 1981 — не помогли Польше справиться ни с политическими, ни тем более с экономическими трудностями, но, напротив, скорее усугубили их; еще больше увеличилась задолженность Западу (27 миллиардов долларов), сократился польский экспорт, резко пала добыча угля в Силезии, ухудшилось снабжение населения едой и предметами первой необходимости, катастрофически возросла преступность и с каждым днем увеличивалась уязвимость Польши перед лицом, казалось уже, неминуемой советской агрессии.

Угрозы вмешаться и положить конец польской "контрреволюции" сыпались из Москвы одна за другой, но запугать поляков словами уже не удавалось, а применить силу Кремль все еще не решался.

Это было время, когда борьба за власть за спиной физически и политически немощного Брежнева достигла своего апогея. Разногласия по поводу Польши были продолжением этой кремлевской борьбы, одной из ее форм. Старая брежневская гвардия предпочитала, как всегда, занять выжидательную позицию, надеясь, что все образуется как-нибудь само собой, и польская революция в конце концов выдохнется. Их главный аргумент в защиту своего бездействия был, что в

отличие от Венгрии и Чехословакии, Польша со всех сторон, кроме моря, блокирована странами Варшавского Пакта, бежать ей практически некуда, советским сателлитом ее делает само географическое положение.

В противовес кремлевским геронтократам, чей прагматизм в отношении Польши объяснялся постепенной утратой ответственности перед номинально возглавляемой ими империей, глава КГБ Андропов и его единомышленники маршалы Николай Огарков (начальник генштаба), Виктор Куликов (главнокомандующий войсками Варшавского Пакта) и генерал армии Алексей Епишев (политический комиссар) следили за развитием польских событий с нарастающей тревогой. Им не надо было экскурсов в русско-польскую историю: о делах в Польше они судили по Венгрии и Чехословакии. С их точки зрения, Польшу надо было завоевывать заново, и сделать это было необходимо, чего бы это ни стоило — даже если Польша обойдется империи много дороже, чем Венгрия и Чехословакия. Их расчет был прост и основывался скорее на математике, чем на логике: оккупация Венгрии и Чехословакии стоили Советскому Союзу каждая по году западной обструкции и по двенадцати лет внутренней стабильности в советской империи.

Причем, следовало торопиться. Трудно было представить более удобный в международном отношении момент для военного вторжения в Польшу, чем в конце 1980 года, когда после президентских выборов в США в Белом Доме наступил переходный период: старые правители сдавали свои дела, а новые их еще не приняли. К тому же, в начале декабря Брежнев должен был отправиться с официальным визитом в Индию, прихватив с собой свою церемониальную свиту — сторонники выжидательного подхода к польскому вопросу временно покидали Кремль.

И вот, в срочном порядке в армию были призваны резервисты — и не на три недели, как их обычно призывали для рутинных маневров, а на шесть. По всем дорогам, ведущим к польской границе, непрерывным потоком двигались автоколонны советских войск.

Войска были приведены в состояние наивысшей боевой готовности. В советской прессе началась беспрецедентная антипольская кампания — взятый ею тон не оставлял никаких сомнений, что она должна была аккомпанировать вторжению Советской армии в соседнюю страну.

В ночь на 4 декабря по радио было передано экстренное обращение руководства Польши к народу, которое начиналось словами: "Граждане! Судьба нации и страны повисла на волоске".

В ту же ночь радио Варшавы объявило о чрезвычайной сессии комитета обороны Польши, созванной военным министром генералом Войцехом Ярузельским, чтобы "обсудить задачи, которые встали перед армией в сложившихся обстоятельствах", — никогда прежде этот могущественный, но секретный орган власти не объявлял о своих заседаниях и не делал никаких заявлений. Это было первое появление генерала Ярузельского на политической сцене. Однако еще более интригующими были действия, предпринятые им в эту ночь за кулисами и ставшие известными только спустя несколько лет.

Катастрофа казалась неминуемой, советским войскам был отдан приказ о наступлении, назначен точный час для него — был момент, когда казалось, что советские войска уже двинулись на Польшу, и некоторые западные радио- и телестанции, забегаая вперед, сообщали о начавшемся переходе первых воинских подразделений через польскую границу. Со времени гитлеровского нападения на Польшу 1 сентября 1939 года, не было более опасного момента в польской истории.

Что спасло на этот раз Польшу от кровопролития, Россию от позора, а человечество от третьей мировой войны (что не исключено, ибо вторая началась с Польши)? Кто остановил коня на полном скаку, когда он уже занес копыта над бездной? Почему утренние сообщения ТАСС о контрреволюции в Польше, которые должны были идеологически обосновать ее оккупацию, в срочном порядке изымались из дневных и вечерних новостей и так никогда и не появились в советских газетах? Что заставило Кремль в последний момент пойти на попятную?

Политики и журналисты гадали о причинах, помешавших русским двинуть свои войска на Польшу: западное общественное мнение? Боязнь ответных экономических, политических и дипломатических мер со стороны Америки и ее союзников? Страх перед польским папой, который будто бы в телеграмме Брежневу угрожал в случае советской агрессии против Польши вернуться на родину и возглавить сопротивление оккупантам?

Несомненно, эти причины сыграли свою подсобную роль, но — только в добавление к главной. Сами по себе они бы не смогли сдержать советскую армию. Ее могло остановить только решительное предупреждение, которое сделал генерал Ярузельский ночью 4 декабря 1980 года: в случае советского вторжения он отдаст приказ польским войскам сражаться. Спустя два года об этом ультиматуме генерала стало известно от одного из польских дипломатов и неофициально подтверждено одним из близких нынешнему режиму польских журналистов. Но и без этой конфиденциальной информации можно было бы прийти к тому же выводу путем исключения, ибо ни западное общественное мнение, ни американские санкции, ни угрозы папы Иоанна-Павла II Кремлю не страшны. Либо страшны, но — менее, чем угроза распада империи. В декабре 1980 года Советскую армию от решительного наступления остановило то же самое, что за четырнадцать лет до этого, в октябре 1956 года, когда Владислав Гомулка в ответ на угрозы Хрущева сказал, что Польша будет сражаться с Советским Союзом. И на этот раз речь снова шла ни больше, ни меньше как о советско-польской войне.

Для того чтобы взять Чехословакию в 1968 году, Советскому Союзу пришлось послать туда 600 тысяч солдат, — таков рассчитанный русскими запас прочности, хотя чехословацкая армия не произвела ни одного выстрела в ответ на советское вторжение. Польша, самая большая по территории и населению восточноевропейская страна, имеет самую многочисленную армию из союзников Кремля по Варшавскому Пакту: 317.500 человек, не считая войск милиции и госбезопасности. Причем в отличие от чехословацкой, польская ар-

мия — традиционно националистическая и воинственная. Если даже польская кавалерия — "лучшая в Европе", как наивно гордились перед второй мировой войной поляки, — целых семнадцать дней сопротивлялась танкам Вермахта, то тем более следовало ожидать сопротивления сейчас, когда на вооружении польской армии были те же самые советские "катюши", танки и самолеты, что и у "братской" армии потенциального агрессора. Единственное отличие — атомное оружие, которое есть у русских и которого нет у поляков. Однако возможность его применения против поляков была исключена: ведь русские не решились даже на его превентивное использование против Китая.

Что же касается количества советских войск, которые могли быть брошены на усмирение поляков, то здесь возможности русских были также ограничены, учитывая хотя бы тот факт, что они уже вели в этот момент войну в Афганистане и что четверть советской армии — миллион человек — застыла в боевой готовности на китайской границе. Самое большее, что русские могли рискнуть бросить на Польшу — это те же самые 600 тысяч, которые были посланы на удушение Пражской весны. Но тогда это была бы война количественно равных сил, потому что Польша, которой никто, кроме России, не угрожал, могла послать в бой всю свою регулярную армию, милицию и войска госбезопасности, а к ним, несомненно, присоединились бы добровольцы и партизаны. Качественно же, польская армия значительно превзошла бы советскую, так как на ее вооружении, помимо советского оружия, были бы также историческая русофобия поляков, территориальные обиды, реваншистские и мстительные эмоции (за ту же Катынь, к примеру, да и за многое другое), плюс война на своей территории: дома, говорят, и стены помогают. Как помогли они, к примеру, лютой зимой 1939-40 года маленькой Финляндии (по населению в девять раз меньше Польши) держать героическую оборону против советских захватчиков, которым "зимняя война" стоила, по свидетельству Хрущева, миллиона жизней, в то время как финнам — 24 тысячи. А уж тем более невозможно взять "малой кровью" Польшу, ко-

торая не остановилась бы ни перед какими жертвами в своем сопротивлении ненавистному уже несколько столетий соседу-обидчику.*

Весь следующий, 1981 год, прошел в Москве под знаком двоевластия, которое можно образно окрестить борьбой площадей: Красной площади, традиционного центра советской власти, и площади Дзержинского с выходящим на нее таинственным зданием КГБ. Между этими площадями было все меньше коммуникаций и все больше противоречий. Наиболее очевидно это сказалось на примере Польши, над которой обе группы — Брежнева и Андропова — скрестили свои шпаги.

В апреле 1981 года эта борьба неожиданно выплеснулась наружу на XVI съезде Коммунистической партии Чехословакии, где произошел случай беспрецедентный, всех поразивший и никем толком не объясненный. В 79-страничном докладе чехословацкий руководитель Густав Гусак прямо объявил, что "антисоциалистические силы в Польше, поддерживаемые и подстрекаемые врагами социализма из-за границы, пытаются осуществить контрреволюционный переворот в этой братской стране". Напомнив слушателям о так называемой "доктрине ограниченного суверенитета" Брежнева, которая послужила оправданием для советского вторжения в Чехословакию в 1968 году, Гусак зловеще предупредил, что "защита социалистической системы есть общая забота государств социалистического сообщества".

Это была как бы преамбула к военной акции в Польше — именно так все и поняли выступление чехословацкого лидера.

* На эту тему у поляков есть один замечательный анекдот. Освобожденный поляком джин обещает исполнить три его желания. "Пусть китайцы нападут на Польшу", — загадывает поляк. Джин исполняет поручение и ждет следующего. "Пусть китайцы нападут на Польшу", — снова говорит поляк. И в третий раз повторяет то же самое. Исполнив распоряжения своего освободителя, удивленный джин спрашивает, какой смысл был для него в трехкратном уничтожении своей родины. "Да, но для того, чтобы дойти до Польши и вернуться обратно, китайцам пришлось шесть раз пересечь Россию", — удовлетворенно отвечает поляк.

Однако на следующий день на съезде выступил гость из Москвы — сам автор "доктрины ограниченного суверенитета" Леонид Ильич Брежнев, которого в Прагу доставил самолет-скорая помощь,— так был слаб и болен советский вождь.

В отличие от обычных речей-марафонов, приветственная речь Брежнева была отпечатана крупным шрифтом на одиннадцати страницах и заняла всего двадцать две минуты. Всех, однако, поразила не ее краткость, а ее примирительный, сдержанный по отношению к Польше тон — особенно по контрасту с лобовой атакой на Польшу основного докладчика.

Почему Гусак оказался большим роялистом, чем сам король? К этому времени уже никто точно не знал, кто сейчас настоящий король в Москве, и Гусак, действуя по прямому указанию Андропова, полагал, что борьба там уже склоняется в пользу шефа КГБ — и не ошибся, хотя в своем верно-подданническом чутье несколько опередил время. Потому что как раз Брежнев, несмотря на обрушившиеся на него хвори, был послан в Прагу для того, чтобы отстоять более умеренную, выжидательную позицию кремлевских старцев. Очередной раунд борьбы в Кремле можно назвать "Польша".

Следующий ее раунд произошел спустя месяц на площади Святого Петра в Риме: 13 мая 1981 года турецкий террорист из фашистской организации "Серые волки" Мехмет Али Агха сделал несколько выстрелов по духовному лидеру поляков Иоанну-Павлу II.

Что важно отметить, так это резкое отличие Андропова от Сталина в отношении к римскому понтифику. Если Сталин сомневался в его власти и даже не без ехидства повторял известный вопрос Наполеона: "Сколько у Папы дивизий?", то Андропов, напротив, сознавал, что в определенных ситуациях один человек может заменить собой целую армию. Так случилось однажды с ним самим, когда в течение нескольких опасных для его жизни дней он заменял в Будапеште Советскую армию, одновременно подготавливая военный штурм столицы Венгрии. В отличие от Папы Римского, он действовал тогда секретно, но как глава тайной полиции он и за публичными выступлениями Римского Первосвященника угадывал

скрытый антисоветский заговор, независимо оттого, был ли он на самом деле или не был. Его профессией было раскрывать заговоры, либо создавать их самому — там, где их не было в действительности, но по его расчетам и подозрениям, они непременно должны были быть. Будучи по своей сути заговорщиком, Андропов и во всех других видел подобных себе заговорщиков, да и саму политическую жизнь иначе как систему заговоров и контрзаговоров не представлял.

Избрание Карола Войтылы на папский престол еще более укрепило КГБ в детективном восприятии политики и истории. Сразу же после того, как это случилось, спецслужба № 1 Первого Главного Управления КГБ, которое возглавлял тогда Виктор Чебриков, нынешний шеф тайной полиции и член Политбюро, составила специальный отчет о выборах в Папской курии. Чебриков и его коллеги пришли к выводу, что главную роль в избрании краковского архиепископа Папой сыграли три других поляка: помощник президента Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, филадельфийский кардинал Джон Крол и примас Польши кардинал Стефан Вышинский — все трое, по советским сведениям, были яростными антисоветчиками и русофобами. Это был очевидный заговор, а его конечной целью было отторжение Польши от Москвы. Причем дальнейшие события — триумфальный визит Папы на родину, образование "Солидарности" и ее поддержка духовным лидером поляков уже из Ватикана — прямо подтверждала, с точки зрения Андропова и Чебрикова, заключенные в докладе спецслужбы № 1 сведения, выводы, прогнозы и рекомендации. Копия этого любопытного документа была впоследствии перехвачена зарубежными разведывательными службами.

А весной 1983 года, когда Андропов был уже руководителем СССР, а Чебриков шефом КГБ, газета "Жице Варшава", с ссылкой на своего вашингтонского корреспондента, перепечатала из левой мадридской газеты "сверхсекретный меморандум" Збигнева Бжезинского президенту Картеру с изложенной в нем во всех деталях операцией по избранию польского Папы, дестабилизации Польши и перехода ее "из ком-

мунистического лагеря в капиталистический". Не только содержание и стиль этого "меморандума", но и его путь, обычный для дезинформационных операций Москвы — из левой мадридской газеты через Вашингтон в одну из польских газет — выдает руку КГБ, которая сфабриковала эту фальшивку несомненно с целью нейтрализовать растущие подозрения в замешанности КГБ в покушении на Папу. С этой же целью, месяц спустя, Виктор Чебриков отправился с экстренным визитом в Софию — разработать совместный болгаро-советский план для опровержения болгаро-советских связей с турецким террористом, тренированным в палестинских лагерях на Ближнем Востоке. Важно, однако, не только, что "меморандум" был фальшивкой, но еще больше то, что КГБ для пущего правдоподобия снабдил ее своей версией избрания Папы под тайным руководством Збигнева Бжезинского с подрывной антисоветской целью. А это значит, что в Москве в эту версию верили и в 1978 году, когда был избран последний Папа, и в 1981, когда на него было совершено покушение, и в 1983, когда председатель КГБ ездил в Болгарию, а его "писатели" сочиняли фальшивку под псевдонимом "Збигнев Бжезинский," — и продолжают верить до сих пор, не ведая на этот счет никаких сомнений.

Вместо того, чтобы опровергнуть "болгаро-турецкие" связи КГБ в покушении на Папу Римского, эта фальшивка косвенно их подтвердила, выдавая тревогу Москвы по поводу его избрания и его подстрекательской роли в польских событиях, а особенно по поводу скрывавшегося на заднем плане главного врага России, который привел в действие весь этот польский механизм и продолжает им управлять из-за океана в борьбе с русскими: США.

И вот, исчерпав все способы запугивания и шантажа и не решаясь на открытое военное вмешательство в дела Польши, Москва решила духовно обезглавить польскую революцию с помощью хорошо замаскированного террористического акта.

Покушение на Папу явилось всемирной сенсацией, но наибольшее впечатление оно должно было произвести в Кремле — на коллег и соперников Андропова в Политбюро. И хотя

польский Папа остался жив, один из самых крупных срывов Андропова на международной арене стал одной из самых крупных его побед на домашней. Это американским журналистам и итальянским следователям потребовались годы, чтобы обнаружить у правого турецкого фанатика отнюдь не фанатические (да и не идеологические, а вполне меркантильные мотивы — обещанные ему его соотечественником Бекиром Селенком миллион с четвертью долларов за убийство римского понтифика). Этот турецкий бизнесмен-контрабандист, действовавший по указке своих болгарских хозяев, лично вовсе не был заинтересован в убийстве Папы. Да и его хозяева также были бы вполне безразличны к судьбе Папы Римского, если бы не интерес к нему их непосредственных шефов с площади Дзержинского в Москве. Этот путь — от площади Дзержинского до площади Святого Петра — был такой длинный, такой запутанный, и было на нем такое количество подставных фигур, что пройти его полностью в обратном направлении и обнаружить отпечатки пальцев Андропова на пистолете Мехмета Али Агхи не смог бы даже самый опытный сыщик. Однако на то, что требовало тщательного расследования в Риме или Вашингтоне, в Кремле хватало опыта, интуиции и страха: очевидность умалется доказательствами, как говорил Сенека. Тем более, как читатель помнит, это было время эпидемии загадочных смертей в самом Кремле и его провинциальных филиалах: "самоубийства", "автокатастрофы", "семейные вендетты" следовали там одна за другой и разом прекратились только после смерти Андропова.

Уже одно это показывает, какую роль в истории могут сыграть индивидуальные особенности политических деятелей — вплоть до формы носа Клеопатры. По всему Советскому Союзу действуют одни и те же законы и в любом его месте преследуют за инакомыслие и экономические преступления, но только на Украине люди платили жизнь за свои политические взгляды — в результате личной инициативы тогдашнего шефа Украинского КГБ генерала Виталия Федорчука, и только в Азербайджане казнь за коррупцию вошла в нормальный обиход этой республики после того, как ее председатель КГБ

Гейдар Алиев совершил дворцовый переворот и стал партийным лидером этой республики. Оба эти "авангардиста" были взяты Андроповым в Москву для искоренения коррупции и инакомыслия во всесоюзном масштабе.

То же самое с самим Андроповым. В распоряжении советской тайной полиции всегда были разнообразные средства для борьбы как с внутренними, так и с внешними врагами. Однако его предшественники на посту главы КГБ после расстрела Берия пользовались этими средствами весьма сдержанно, в каждом отдельном случае испрашивая разрешение на их применение у Политбюро. Сейчас сам шеф КГБ был членом Политбюро (впервые после Берия) и с большинством остальных его членов — за исключением Михаила Горбачева и Андрея Громыко — находился в конфликтных отношениях. Андропов не считал нужным не только испрашивать у Политбюро санкций, но даже ставить этот высший орган империи в известность о замыслаемых акциях полагал излишним, ибо знал заранее, что не получит одобрения на самые рискованные из них. Брежнев, с его старческими немощами и церемониальным присутствием во главе государства, в ватиканский проект Андропова посвящен, естественно, не был, ибо, если бы был — судя по всему его предыдущему, весьма осмотрительному курсу — никогда бы на него не согласился: именно поэтому он о нем и не узнал заранее. И все остальные кремлевские геронтократы были поставлены перед свершившимся фактом, и переполох в Кремле был не меньшим, чем в Ватикане. Им всем не было никакого дела до Папы Иоанна-Павла II — они думали только о себе и о полной своей беззащитности перед этим загадочным человеком со скользкой улыбкой на тонких губах и близорукими глазами за толстыми стеклами импортных очков. Теперь ни у кого из них не оставалось больше сомнений, что за человек затесался в их ряды — с их точки зрения, это был решительный поворот к сталинским временам, с интригами, коварством, убийствами и страхом. Так, выстрелы на площади Святого Петра, которые благодаря чуду и искусству итальянских врачей, оказались не смертельными для Папы Римского, стали роковыми для

кремлевских геронтократов — с 13 мая 1981 года в Кремль возвратился сталинский страх.

Последствия этого страха не замедлили сказаться на византийских обычаях Кремля — менее, чем через три недели после римских выстрелов, 25 мая 1981 года, Брежнев привели в здание на площади Дзержинского. Ни один из его предшественников — даже Сталин — ни разу не решился переступить порог этого самого зловещего в Москве, а возможно, и во всем мире, здания. Будь на то его собственная воля, этого никогда не сделал бы и Брежнев — как не делал он этого все семнадцать предыдущих лет своего правления. Увы, сейчас он уже не был хозяином не только страны, но и собственного расписания — он шел и ехал туда, куда его вели и полностью зависел от своих гидов: в Прагу в апреле он прилетел по заданию своих соратников, а в КГБ его привел его враг и соперник и продемонстрировал и без того запуганному Брежневу "достопримечательности" своего таинственного замка. Советские газеты на следующий день коротко сообщили об этом чрезвычайном визите главы государства, подчеркнув тем самым новое значение Комитета госбезопасности и его шефа в правящей иерархии.

Усилив с помощью ЧП на площади Святого Петра свою власть в Кремле, Андропов, однако, ни на дюйм не продвинулся в разрешении польского кризиса. Наоборот, именно покушение на польского Папу придало еще больше решимости другому поляку: генерал Ярузельский понял, что в Москве есть люди, которые не остановятся ни перед чем, чтобы усмирить Польшу — если не с помощью регулярной армии, то с помощью регулярной подрывной деятельности, и что этих людей во что бы то ни стало надо опередить. И вот, в самый разгар советских угроз, когда уже было невозможно отличить шантаж от реальности, в ночь на воскресенье 13 декабря 1981 года генерал Ярузельский, закрыв предварительно польские границы с СССР и его сателлитами, совершил военный переворот, отменив все гражданские свободы, запретив деятельность как "Солидарности", так и Коммунистической партии и сосредоточив всю полноту власти в своих руках.

"Очень жаль, что человеческая натура вынуждена прибегать... к насилию, но с другой стороны, нельзя отрицать, что это является наивысшей данью истине и справедливости", — эти слова Хосе Ортега-и-Гасета полностью приложимы к польскому генералу. Заплатив наивысшую дань истине и справедливости, он спас свою страну от иноземного вторжения: сделал то, что не смогли сделать для своих стран ни восточноевропейские раскольники венгр Имре Надь и словак Александр Дубчек, ни их преемники конформисты Янош Кадар и Густав Гусак. Генерал Ярузельский выстоял в схватке с Кремлем и одержал победу.

Армия во главе с генералом Ярузельским взяла власть в свои руки только после того, как убедилась, что "Солидарность" не способна выполнить предложенную ею же программу реформ, не поставив под угрозу само существование Польши. "Солидарность" смогла поколебать почву под старой властью, но оказалась неспособна ей наследовать. Уничтожив авторитет партии, "Солидарность" тем самым расчистила дорогу к власти армии. Военным переворотом 13 декабря 1981 года армия объявила себя ответственной за судьбу республики — польская революция из рук рабочих перешла в руки военных. Сыграв главную роль в предыдущем акте польской драмы, Лех Валеса со своими товарищами отошел на задний план — он вписал свое имя в польскую историю, но вряд ли ему предстоит еще хоть какая-нибудь роль в ней.

Таково интернациональное свойство революций — развиваться зигзагообразно, отступая вспять и уничтожая на пути собственную первоначальную модель. Такова вечная антитеза революции, ее гигантский маятник: от анархии к диктатуре.

Спустя 19 месяцев после ее установления, она была отменена, хотя военные так и не отдали власти прежним руководителям Польши — коммунистам. Правда, у Ярузельского есть партийный билет, но это не более чем фасад, обращенный в сторону подозрительной Мекки — Москвы (напомним, что довоенный диктатор Польши маршал Пилсудский также числился социалистом). И хотя Ярузельский пожертвовал рядом добытых "Солидарностью" свобод, чтобы спасти независи-

мость Польши, она остается самой свободной страной Восточной Европы: с антиправительственными демонстрациями, с официальным правом рабочих на забастовки, с частными сельскохозяйственными фермами, с независимой и часто оппозиционной режиму церковью, с почти беспрепятственными поездками простых граждан за границу. Заслуги Ярузельского признают даже побежденные им оппоненты — один из бывших руководителей "Солидарности" Януш Снушевич удачно окрестил нынешний режим "тоталитаризм с человеческим лицом". Мы помним, к чему привел "социализм с человеческим лицом" Александра Дубчека и его соавторов Пражской весны. Так, может быть, "тоталитаризм с человеческим лицом" более надежен и исторически оправдан в противостоянии Советскому Союзу?

Вряд ли стоит при этом сравнивать Войцеха Ярузельского с западными политическими деятелями, которым не приходится сталкиваться с такими сложными и смертельно опасными задачами, как ему, а саму Польшу с независимыми от Советского Союза странами. Польша — ближайший западный сосед СССР, член возглавляемого им Варшавского Пакта. Причем политическую зависимость Польши от Кремля никак нельзя поставить в вину ее нынешнему руководителю, но скорее Рузвельту и Черчиллю, которые четыре десятилетия назад проиграли Польшу Сталину, своему партнеру по "ялтинским играм". Увы, именно по этой причине нам теперь ничего не остается, как рассматривать Польшу Ярузельского в восточноевропейском контексте, однако как раз благодаря этому сравнению и обнаруживается ее резкое отличие от других советских сателлитов, что признают даже оппоненты генерала — церковь и "Солидарность".

Еще важнее для Ярузельского было признание его режима Папой Иоанном-Павлом II.

Вместо того чтобы, как рассчитывали экстремисты разных мастей, расшатать режим Ярузельского, второй визит польского Папы в родные пенаты летом 1983 года укрепил патриотическую основу военной диктатуры и ее способность противостоять давлению Кремля. В результате двух секрет-

ных встреч между этими польскими патриотами Ярузельскому удалось заручиться полной поддержкой Папы, в то время как прежний протезе Ватикана Лех Валенса ее лишился, и Иоанн-Павел II всячески отговаривал его от политической деятельности. (Есть слухи, что именно Папа использовал весь свой авторитет, чтобы оттянуть присуждение ему Нобелевской премии мира на два года. Поразительно и поведение членов Нобелевского жюри — пяти депутатов Норвежского стортинга, — которые устояли под мощным давлением общественного мнения и удержались от вмешательства в польскую ситуацию, каким неизбежно было бы присуждение Валенсе премии в 1981 или 1982 году, в то время как в конце 1983 года, когда он ее наконец получил, она уже не могла быть использована в политических целях и имела исключительно символическое значение.)

Во время своего будто бы религиозного паломничества на родину Папа проявил себя скорее мудрым политиком, сделав трудный в его положении выбор между патриотическим красноречием и патриотическим прагматизмом. Глубоко моральная по своей сути поддержка им генерала Ярузельского, спасителя их общего отечества, вызвала в адрес Иоанна-Павла II упреки именно в аморализме — мы живем в мире перевернутых, зазеркальных понятий, и даже Льюис Кэрролл со своей Алисой среди них растерялись бы и запутались.

В этом зазеркальном мире один из самых влиятельных журналистов Америки Вильям Сэфайер называет Ярузельского "русской марионеткой", а ее министр обороны Каспар Вайнбергер — "русским солдатом в польской униформе", а саму Польшу в Белом Доме именуют, оказывается, "Освенцимом". Так политическое невежество, само того не сознавая, всеми силами заталкивает Польшу обратно в московский лагерь.

Есть у Гофмана сказка о злом уродце Крошке Цахес, которого благодаря вмешательству феи все принимают за благородного красавца. С нынешним польским руководителем судьба, похоже, сыграла противоположную шутку: что бы он ни сделал, все принимают за зло, а его самого за злодея.

За эмоциональной реакцией на военный переворот в Польше мало кто обратил внимание на то, что его инициатору пришлось бороться сразу же на два фронта — с польской анархией и с русской мощью. С польской анархией — для того, чтобы нейтрализовать русскую мощь. Иначе говоря, создать сильную Польшу, способную самостоятельно противостоять России, ибо никто другой ее в этом географически неизбежном противостоянии заменить не может: ни американские журналисты, ни Пентагон, ни даже Ватикан во главе с польским Папой. Таков печальный парадокс Польши, следствие ее несчастливого географического рождения: при ее западной ориентации, Польша предпочла бы перейти под политическое, экономическое и военное покровительство Америки и Западной Европы, чем оставаться в экономически ненадежной, идеологически чуждой, а политически и исторически оскорбительной зависимости от русской империи. Однако весь вопрос в том, готов ли Запад при случае ей это покровительство оказать? (Совершенно нейтральное и независимое, наподобие Австрии либо на худой конец Финляндии, существование Польши все-таки вряд ли возможно, как невозможно остаться "неприсоединившимся" железному бруску, помещенному в магнитное поле между двумя противоположными полюсами.) Ярузельский трезво взвесил возможности обеих заинтересованных сторон — силу советского желания удержать Польшу в сфере притяжения империи и силу западного желания отторгнуть от нее Польшу. Обе эти силы были уже несколько раз проявлены — наиболее ярко во время Венгерской революции 1956 года и Пражской Весны 1968-го. В обоих случаях Советский Союз обнаружил большую волю к удержанию награбленного, чем Запад к его изъятию у грабителя и восстановлению исторической справедливости. Иначе говоря, как и прежде, Польше ничего не оставалось, как полагаться только на саму себя.

Образ Польши окрашен в трагические и мученические тона, и этим своим жертвенным ореолом народ даже гордится, называет себя "нацией Христа". Однако в самой этой польской гордости есть элемент ущерба, ущемленности и беспомощ-

ности — она не от хорошей жизни, за фасадом этой национальной гордости скрываются исторические национальные комплексы. Если бы не Войцех Ярузельский, Польша вписала бы в свою историю еще одну героическую страницу — не исключено, что самую героическую. Историческая заслуга польского генерала заключается в том, что он лишил свою страну самой возможности сыграть эту традиционную для нее героико-жертвенную роль. Слишком много польской крови пролилось в прошлом, чтобы дать ей пролиться еще раз!

Это издалека, через океан, сподручно и безопасно было гадать — войдет или не войдет Советская армия в Польшу, как гадали простолюдины на казнях в России: налево или направо падет голова. Иначе в самой Польше — особенно ее военным во главе с Ярузельским, на которых лежала тяжкая ответственность за суверенитет страны. Подобно Израилю, Польше приходится отстаивать само право на существование — вопрос, который перед большинством других стран не стоит. Поэтому сделав свой трагический выбор между независимостью Польши и ее свободой (часть которой он позднее возвратил своим гражданам) и превратив страну в военный лагерь на случай агрессии, Ярузельский лишил какого бы то ни было выбора Кремль, прекратив на время тамшние гамлетовы сомнения и внутренние дискуссии. Приветствуя Папу Римского в Бельведерском дворце, Ярузельский напомнил слова национального героя Польши Тадеуша Костюшко: иногда мы должны жертвовать многим, чтобы сохранить все.

Кремль упустил момент, когда он мог напасть на Польшу, потому что военизированная Польша Войцеха Ярузельского лучше подготовлена к обороне, чем предшествующая ей анархическая Польша Леха Валесы. Напасть теперь на Польшу — значило бы для России начать войну, которая неизвестно сколько протянется и главное — неизвестно чем кончится. Поэтому единственное, что теперь Кремлю остается, это вести двойную игру. С одной стороны, делать хорошую мину при дурной игре: в феврале 1983 года Ярузель-

скому крепко жмет руку человек, которого он опередил и переиграл — Юрий Андропов; в мае 1984 года к лацкану его пиджака прицепляет орден Ленина* временщик Константин Черненко; в апреле 1985 года его целует в обе щеки на варшавском аэродроме Михаил Горбачев, возобновляя брежневскую традицию лобызаний при встречах и прощаниях с иностранными лидерами. Однако это только фасад, за которым Комитет Государственной Безопасности под руководством Виктора Чебрикова продолжает тайную подрывную войну против непокорной Польши.

Римская неудача с покушением на Папу (а позже, и на Леха Валесу во время его поездки в Италию в том же 1981 году) не обескуражила КГБ, а только привела к географическому перемещению саботажа — русские поняли, что легче и безопаснее действовать против поляков на территории самой Польши, чем за ее пределами. Тем более главным польским врагом Москва теперь полагает не лидера "Солидарности" и не главу Ватикана, но руководителя Польши: в Кремле его раскусили быстрее, чем в Белом Доме. Тем не менее, КГБ не решается на устранение самого Ярузельского — это им пока не под силу. Зато под силу создать в Польше "пятую колонну", террористическую организацию, которая, действуя подпольно, под прикрытием полицейских мундиров, спровоцировала бы беспорядки в Польше, а те, в свою очередь, привели бы к падению неугодного Кремлю генерала и возвращению к власти просоветских польских коммунистов, а с ними и самой страны обратно под московскую опеку. Таков заговор КГБ против Польши, который советские агенты активно проводят в жизнь.

* Награждение Ярузельского этим орденом в связи с его шестидесятилетием было расценено на Западе как одобрение Кремлем его политики, в то время как на самом деле это был знак опалы: Ярузельский и президент Румынии Николае Чаушеску, проводящий независимый от Москвы внешний курс — единственные из восточно-европейских лидеров, не удостоенные высшей имперской награды золотой звезды Героя Советского Союза.

В 1983-84 годах по стране прокатилась волна загадочных убийств. Умер после побоев в полицейском участке девятнадцатилетний Гржегорщ Прземик, сын известной польской поэтессы-диссидентки Барбары Садовской. Бывший активист "Солидарности" Анджей Гржегорщ Газиевский был задержан после мессы Папы Иоанна-Павла II под открытым небом на Варшавском стадионе, а спустя несколько дней его тело было найдено на железнодорожной насыпи за городом. Другой активист "Солидарности" Ян Самсонович был обнаружен повешенным на стене гданьской кораблестроительной верфи, где свободные профсоюзы родились в августе 1980 года. И, наконец, настала очередь отца Ежи Попелушко, широко известного по всей Польше своими антиправительственными проповедями. Его зверское убийство осенью 1984 года потрясло всю Польшу — Ярузельского больше других. Ибо трудно представить более серьезный акт саботажа против генерала — разве что убийство Леха Валенсы, которого правительство, учитывая такую возможность, тщательно охраняет под видом слежки за ним.

Ярузельский в самых резких выражениях осудил этот акт политического гангстеризма и предпринял энергичные и эффективные меры по поимке убийц — ими оказались, естественно, функционеры Министерства внутренних дел, во главе которого стоял верный Ярузельскому — а не Москве! — армейский генерал Чеслав Кишак: цель провокации была скомпрометировать сразу же обоих патриотов, вызвать беспорядки в стране и ослабить либо даже ниспровергнуть режим Ярузельского. Именно так трактовали этот террористический акт даже его оппоненты — такие, как Лех Валенса и кардинал Йозеф Глемп. Расчет Кремля на этот раз снова не оправдался благодаря тому, что в Польше его разгадали на всех уровнях — от правительственного до народного, и на провокацию не поддались.

Попутно трагические эти события наглядно опровергли поверхностное и примитивное, хотя и весьма распространенное представление, что главными действующими лицами польского конфликта до сих пор являются правительство

Ярузельского и оппозиция в лице церкви и бывших вождей "Солидарности". Увы, есть еще одно действующее лицо на политической сцене Польши, чьи интересы не совпадают ни с официальными, ни с оппозиционными. Во всяком случае, на суде над убийцами ксендза — беспрецедентном в современной Восточной Европе — наиболее интригующим подсудимым оказался подстрекатель убийства полковник госбезопасности Адам Петрушка, приговоренный к 25-ти годам тюремного заключения, а не сами гангстеры, непосредственные исполнители преступления. Однако никто в Польше не сомневался, что нити заговора тянутся еще выше — менее других Ярузельский, взявший после убийства отца Попелушко Министерство внутренних дел под свой личный контроль, отстранив от него секретаря ЦК и члена Политбюро генерала госбезопасности Мирослава Милевского, который до 1981 года сам возглавлял это министерство и был известен своими московскими связями. Спустя еще несколько месяцев, когда Ярузельский получил доказательства, что генерал Милевский был связным между наемными убийцами и кремлевскими нанимателями, он был исключен из Политбюро, Секретариата и ЦК. Причем произошло это всего через две недели после тех поцелуев на варшавском аэродроме, которыми обменялись Михаил Горбачев и Войцех Ярузельский. Вот тогда и стало очевидно, что с арестом в Риме нескольких турок и одного болгарина террористическая деятельность КГБ против самой свободолюбивой восточноевропейской страны не прекратилась.

Кто следующий стоит в этой "роковой очереди"?



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

ДУХОВНАЯ ДРАМА СИОНИЗМА

Дайте руку, читатель, я поведу вас тернистыми путями, которыми совершал свое хождение по мукам сионизм — одно из влиятельных общественных движений современности. Вы увидите его взлеты и падения, пережитые им метаморфозы и, наконец, то распутье, на котором сионистское движение оказалось сегодня.

Общее понятие сионизма как идеи схематично и мертво, и только в потоке истории можно почувствовать живой пульс сионистского движения, увидеть его таким, каким оно было в действительности, а не в виде холодной и мертвой доктрины.

Вряд ли можно сказать, что небо было безоблачным, когда сионизм всходил на общественную арену. Но великие надежды освещали его путь. Тогда сионизм был еще утопией. Теперь же это идея, воплотившаяся в жизнь, но густой туман обвалакивает ее небосклон. В конечном счете, решающими для всякой идеи являются ее духовные истоки. Так обстоит дело и с сионизмом — в его истории кроется ключ к пониманию его духовной драмы.

Человек смертен, и в этом смысле конечен. Но бесконечна человеческая история, в которой нельзя обнаружить начала и концы. Иногда явления модифицируются необычайно сильно, но после того, как стихнет "шум сражений", в новом часто угадывается старое и уже пережитое человечеством. Этим я вовсе не хочу сказать, что ветры истории возвращаются на круги своя. Нет, я хочу лишь подчеркнуть, что историческая преемственность часто оказывается сильнее любых скачков и неожиданных сюрпризов. Так обстоит и с сионизмом.

Со времени первого съезда "ревнителей Сиона" в Котовицах в 1884 году прошло более ста лет. Это был век бурного развития, захлестнувшего целые народы и государства, но сионизм, несмотря на все превратности судьбы, остался тем же. Завоевание земли обетованной — трудом или силой — оставалось его заветной мечтой. И вот теперь, когда победа в Шестидневной войне 1967 года отдала всю эту землю в руки Израиля, он оказался на распутье. Около двадцати лет Израиль оккупирует завоеванные территории, но не решается их присоединить. Отчего же это происходит?

Дело в том, что сионизм родился под знаком раздвоенности, или точнее, разрыва между идеалом и действительностью. Романтикам сионизма задача казалась более, чем очевидной: страну без народа надо предоставить народу без страны.

Однако, это была абберация зрения: земля, куда пришли еврейские поселенцы, не была страной без народа. Это обстоятельство и оказалось камнем преткновения сионизма на протяжении всего его пути. Более того, коллизия между идеалом и жизнью стала источником постоянного духовного брожения в сионизме.

Президент Вейцман был первым, кто имел мужество назвать вещи своими именами, определив еврейско-арабский конфликт как столкновение двух правд, двух справедливостей. Сионизм отстаивал еврейскую правду — восстановление еврейской независимости на земле Израиля. Но он не мог отрицать, что эта страна, населенная арабами в течение веков, превратилась в их родину.

Сионизм пытался оправдать еврейское присутствие на заселенных арабами землях разного рода теориями, призванными успокоить еврейскую совесть. Наиболее распространенная из них состояла в том, что евреи несут на земли, заселенные арабами, прогресс. Их приход станет благом для всей страны, в том числе и для арабов. Далее утверждалось, что арабское сопротивление — это результат науськивания их на евреев со стороны духовенства и землевладельцев (эффенди). Наконец, из сионистского лагеря раздавались голоса и о том, что на стороне евреев сама жизнь, так сказать, сам ход истории и что по мере заселения ими страны, арабы вынуждены будут примириться с этим, как со свершившимся фактом. Все эти карты оказались битыми. Сионизму не оставалось ничего иного, как признать, что он имеет дело с национальным движением, а всякое национальное движение само по себе имеет право на жизнь.

Это было горькое признание. В конце концов, вопрос стал так: как примирить национальные суверенитеты двух наций на одной и той же территории? Была выдвинута теория двунационального государства, но и она оказалась химерой: арабы не соглашались на признание еврейских прав на Палестину.

Утрата перспективы создать двунациональное государство означала неизбежность войны, что в свою очередь не могло не углубить духовного брожения в сионизме. Это брожение нашло свое яркое выражение в словах Мартина Бубера, сказанных им в 1948 году: "50 лет тому назад, когда я присоединился к сионистскому движению во имя возрождения Израиля, сердце мое было твердым и не знало тревог. Теперь в нем пролегла глубокая трещина. Борьба за политический строй ежечасно грозит превратиться в войну за существование нации. Сердце мое в тревоге, как сердце каждого израильянина. Ведь и победе я не могу радоваться, ибо боюсь, что еврейская победа будет поражением сионизма." Так, Мартин Бубер впервые заявил о внутреннем конфликте между военными победами и моральными ценностями сионизма.

Заметим, что он проявил высшую меру самоограничения, когда согласился на раздел страны — на еврейское и арабское

государство. Арабский мир отверг этот исторический компромисс, и война стала неизбежной. Лагерь палестинских беженцев, вынужденных оставить свою родину, явились прямым результатом "арабского отказа", но в то же время они — живой укор сионизму. Мог ли он освободить себя от моральной ответственности за образование этих лагерей?

Но обратимся к дальнейшему ходу событий. Многие годы арабо-еврейские войны приносили победу еврейской стороне. Ей сопутствовал исторический прогресс, ибо она отстаивала более высокие нравственные принципы. Однако, история — это не простое освящение свершившихся фактов, она толкает к расценкам и раздумьям.

Победа 1967 года передала в руки Израиля арабские земли, которые были предназначены для народа Палестины. Тем самым государство Израиль оказалось перед великим испытанием: искать ли попрежнему соглашения с арабами или, отказавшись от компромиссов, воссоздать целостный Эрец-Исраель? Велик соблазн, но велик и грех покушения на земли, заселенные полутора миллионным арабским населением. И не отзовется ли подобное решение на будущих поколениях бесконечными распрями и войнами? Как поступить перед лицом подобного выбора? Какой должен быть избран путь? Сомнение и по сей день гложет сердце Израиля и некуда податься от этой судьбоносной дилеммы.

К этому сомнению прибавился и прагматический мотив: арабы все равно, при всех обстоятельствах, жаждут гибели Израиля — почему же в их руках оставлять земли, которые в будущем послужат трамплином для нападения на страну?

Семь лет, начиная с 1977 по 1984 год, у руля правления в Израиле находился правый блок Ликуд. Его ядром является партия, знаменем которой было воссоединение целостного Израиля. Почему же эта программа не была осуществлена? Почему Иудея, Самария и сектор Газы так и не были присоединены к Израилю? Конечно, этому способствовали политические соображения и прежде всего отрицательная позиция Америки. Но не будет ли справедливым сказать, что сомнение удерживает Израиль от прыжка в неизвестность?

Еврейское государство утратило единство воли, которое отличало его в предыдущие годы и составляло секрет его силы. Как ни парадоксально, произошло это в результате его блестящей победы в Шестидневной войне. Но истоки кризиса следует искать в "первородном грехе" сионизма — он поднялся слишком поздно, когда уже начался процесс национальной консолидации арабов в Палестине. Как сказал поэт: "Оратор римский говорил/ среди бурь гражданских и тревоги/ я поздно встал — и на дороге/ застигнут ночью Римом был!"

2

Другая болевая точка сионизма — соотношение права и силы. Сионизм поднялся на дрожжах исторического права еврейского народа на землю своих предков. Многие и по сей день оспаривают это право. "Если начать считаться с историческими правами, — утверждают они, — то наступит полная неразбериха в жизни государств, а потому нет у права евреев никакого морального оправдания." Так ли это?

Конечно, историческое право не существует вне потока истории. Оно также должно проверяться условиями места и времени. Совершенно ясно: если бы Палестина была густо заселена арабами, историческое право евреев так и осталось бы бессодержательной абстракцией, не имеющей ни малейшего шанса на реализацию. Но по-иному обстояло дело в Палестине, которая в целом оставалась страной отсталой и мало заселенной. Весь сыр бор разгорелся не из-за еврейских поселений, а из-за столкновения противоположных национальных целей; и евреи и арабы стремились стать доминирующей силой в стране.

Историческое право евреев — это исключительный случай, ибо это единственный народ, который, потеряв свою родину, не поменял ее на другую и, рассеявшись по миру, не приобрел никакой другой.

Родина была заменена ее идеей и, когда спустя много поколений еврейский народ заболел мечтой о реальной родине, произошло столкновение между мечтой и действительностью. Этот конфликт и породил необходимость прибегнуть к силе. Именно ей должно было уступить место право.

В своей книге "Беседы с арабскими лидерами" Бен Гурион писал: "Сионистское движение исходило из представления, что наше поселенческое дело приносит пользу арабам. Так думали и лидеры израильского рабочего движения. Поэтому вера в то, что арабы примут нас с распростертыми объятиями или, по крайней мере, примирятся с нами, что в стране есть место и для нас, и для арабского населения, — эта вера была всеобщей. В действительности, арабское сопротивление поставило сионизм перед жесткой дилеммой: либо отказаться от своей мечты, либо силу противопоставить силе".

Так произошла внутренняя трансформация сионистского движения. Будучи со дня своего основания чисто пацифистским и принадлежа единственным в мире пацифистскому народу, сионизм волей истории вынужден был создавать военную силу. И — что важнее всего — не только в целях самообороны, но и чтобы сломить арабское сопротивление. Превращение сионизма в силовой фактор привело к серьезному перемещению акцентов в его духовном облике.

Незначительная группа пацифистов, возглавляемая ректором Иерусалимского Университета профессором Магнесом и знаменитым Мартином Бубером, ставила превыше всего принцип соглашения с арабским миром, но и она не соглашалась поступиться еврейской алией в страну, против которой выступали арабы.

Трагедия пацифистского сионизма заключалась в том, что у него не было партнеров в арабском мире. Арабы, составлявшие в стране большинство, не помышляли ни о каких уступках евреям. Поэтому призывы пацифистов так и остались гласом вопиющего в пустыне.

К тому же и пацифистский сионизм не был свободен от противоречий, и они изнутри подтачивали "благовест", который он нес. Первый вопрос состоял в том, является ли еврейское возвращение на землю обетованную правом безусловным или получаемым по милости арабов? Иными словами, могут ли евреи себе позволить действовать и без арабского согласия, при помощи военной силы. Другой вопрос — не сужает ли применение силы морального права евреев на заселение Палестины? У пацифистов не было ответа на эти

вопросы. Они отстаивали еврейское право на заселение Палестины, но много ли пользы от этого права, если нет готовности защищать его. Пацифисты отстаивали равенство народов, но и они не были согласны на прекращение еврейской алии, которое арабы пытались навязать силой. Словом, пацифистский сионизм — при всех его благих порывах — как рыба об лед бился в тисках противоречий. Отказ от применения силы означал отступление перед силой. Отказывая евреям в праве на применение силы, он автоматически оставлял это право за арабами. Чем же одно лучше другого?

Ошибается тот, кто думает, что драма пацифистского сионизма относилась только к нему. Нет, это была драма сионизма вообще. Мы уже говорили, что он взошел на общественную арену как чисто пацифистское движение и, охваченный идеей национальной борьбы, старался держать голову над водой, чтобы не сгореть в бурлящем котле национальных страстей. С первых же своих дней сионизм придерживался политики сдерживания — не отвечать враждебностью на враждебность, террором на террор, чтобы не сжечь мосты для будущей договоренности.

Многие воспринимали эту политику как мягкотелость, но сионизму удалось (несмотря на то, что Израиль оставался на положении осажденной крепости) избежать милитаристского угара. Согласие на раздел Палестины было еще одной его победой над самим собой. Однако, внутри сионистского движения велась жесточайшая борьба политических направлений. Экстремистские силы, которые всегда отвергали раздел страны и арабо-еврейский компромисс, непрестанно оказывали давление в сторону национализма и повышения роли силовых факторов. Ликуд и стал тем силовым сионизмом, который пришел к власти в 1977 году и привел к изменению духовных ценностей сионистского движения. Это прежде всего проявилось в Ливанской войне, из которой Израиль уже более трех лет не может выйти. Сама война (первая такая война в Израиле) не была вызвана необходимостью в самозащите. Это была попытка навязать силой мир Ливану. Предполагалось, что он станет вторым, после Египта, арабским государством, пробившим брешь во враждебном кольце, окружающем Израиль.

Ливанская война оказалась авантюрой. Израиль не рассчитал своих возможностей и, пытаясь поднять тяжесть сверх своих сил, надорвался. Черным по белому доказано, что он не может навязать силой мир арабским странам. Будут ли извлечены из Ливанской войны необходимые уроки, пока неизвестно. Но вспомним, что во время жесточайших бомбардировок Бейрута, так же, как после резни палестинских беженцев, в Израиле поднялась мощная волна протестов, и это было живым доказательством того, что духовные истоки сионизма не исчезли и по сей день.

3

Сионизм вырос из глубокой нужды еврейского народа иметь под ногами клочок земли. Но диалектика истории привела к тому, что заселившие эту землю еврейские поселенцы постепенно перестали отождествлять себя с Галутом. Поколение сабр, родившихся и выросших в Палестине, оказывалось все более чуждыми евреям рассеяния. Образовалась трещина между двумя привязанностями — к еврейскому Галуту и к еврейскому государству, создаваемому в Палестине. При этом любовь к еврейскому государству становилась самоценностью, вытесняющей в сердцах жителей Израиля интерес к Галуту.

В 1942 году Бен Гурион сказал на съезде своей партии, что "еврейский рабочий в Палестине" замкнулся в узких рамках своего дела и не обратил внимания на еврейские массы, оставшиеся в Галуте, хотя от этих масс зависела судьба начатого им дела". Так образовался еще один источник тревоги и духовного брожения в сионизме.

Эта трещина между еврейской Палестиной и Галутом особенно отчетливо обнаружилась в преддверии Второй мировой войны. Камнем преткновения стали прежде всего два вопроса: во-первых, спасение еврейского имущества из нацистской Германии. Было заключено соглашение между Сохнотом и правительством Гитлера, предусматривающее перевоз этого имущества в Палестину в составе немецких товаров. Это было нарушением всеобщего бойкота на немецкие товары, но

соглашение обеспечивало приток средств для строительства будущего еврейского государства.

Второй вопрос касался еврейских беженцев из гитлеровской Германии. Сионизм был застигнут врасплох и оказался неспособным дать ответ на эту жгучую проблему.

В 1938 году Бен Гурион писал Исполкому Всемирной Сионистской организации: "Ужасные масштабы проблемы беженцев требуют территориального решения и быстрого решения. И, если Эрец-Израель не принимает этих беженцев, необходимо искать для них другую территорию. Сионизм теперь находится в опасности. И далее Бен Гурион поясняет: "Вся энергия будет направлена на спасение беженцев в разных странах. Сионизм потеряет не только в общественном мнении мира, в Англии и Америке, но и в Европейском общественном мнении".

Это была настоящая трагедия! Трещина между Эрец-Израель и еврейским галутом принимала угрожающие размеры. Дело не только в том, что сионизм оказался беспомощным перед лицом физического уничтожения миллионов евреев, но и в том, что сосредоточив все усилия на строительстве еврейской Палестины, он не отождествлял себя с жертвами нацизма. Здесь не место обсуждать, что было сделано для спасения гибнущих евреев, — это тема специальной статьи. Мне хотелось бы лишь отметить, что Катастрофа посеяла еще одну большую смуту в рядах сионистского движения. Ярче всего суть этой драмы выразил Берл Каценельсон, признанный вождь еврейского рабочего движения, который метался, как раненый зверь в роковые годы еврейской катастрофы. Именно он подметил внутреннюю ложь и двойственность в отношении сионизма к еврейскому Галуту. "Ужасы катастрофы, — говорил он в 1943 году, — не воспринимаются нами как личная трагедия, как трагедия нашей судьбы". А в 1944 году он выразился о Катастрофе так: "Это не проникает в наш мир, ибо мы не живем жизнью еврейского мира, ибо мы другие!"

Создавшееся положение побудило группу общественных деятелей еврейской Палестины создать в дни Катастрофы группу "Не молчать!" "Не создавайте новых поселений, — пи-

сали они, — не занимайтесь строительством страны. Обратите свои силы и средства для помощи и спасения разрушаемого Галута". Этот крик души так и не был услышан. Центральное место, которое занимал Эрец-Исраэль в сионизме, отодвинуло на задний план трагедию еврейской Катастрофы.

4

В своем развитии сионизм претерпел ряд метаморфоз. Из утопии он превратился в сионизм халуцианский, из халуцианского — в военный, и наконец, с созданием государства — в сионизм государственный.

На всех этих этапах сионистское движение не только обрело разные формы, но и менялось по существу. Будучи утопией, сионизм добивался мандата у Оттоманской империи, но это была погоня за миражом, завершившаяся Угандским кризисом.

На второй своей фазе — хаулианской — сионизм заложил основы будущего завоевания страны — не силой оружия, а трудом, созданием одного поселения за другим. Халуцианский сионизм высоко поднял знамя личного труда и гуманизма в лучшем смысле этого слова, и этим были спасены моральные ценности сионизма.

Однако, впереди его подстерегало самое большое испытание — столкновение с многомиллионным арабским окружением. Это была третья фаза — военный сионизм — который должен был с оружием в руках доказать свою жизненную силу, свою способность проливать кровь во имя новой родины. Надо признать: сионизм выдержал это испытание, отстояв узкую полосу земли на берегу средиземного моря в борьбе с превосходящими во много раз арабскими силами. Диалектика истории привела к тому, что самый пацифистский народ в мире создал образцовую армию, способную защитить его жизненные интересы. Но за это достижение народу Израиля предстояло дорого заплатить — его лучшие силы ушли на поля сражений — на войне, как на войне — и это не могло не отразиться на духовности еврейского народа. Правда, армия Израиля установила принцип "чистоты оружия", но когда говорят

пушки, молчат музы, и еврейское государство тут не было исключением.

Не случайно Голда Меир однажды сказала: "Мы не простим арабам не только наших убитых, но и то, что мы сами должны были убивать". К этому надо добавить, что военный сионизм неизбежно нес с собой глубокое разочарование: Израиль одерживал победы во всех войнах, но ни одна из них и все они вместе взятые не могли принести окончательной победы. Арабский мир был слишком велик, чтобы маленький Израиль мог поставить его на колени и продиктовать ему условия мира. Таким образом, военный сионизм был воплощением силы и бессилия одновременно. Разве это не может не сеять отчаяния?

Образование еврейского государства было, конечно, апогеем сионизма. Заветная цель была достигнута. Никто не в силах поставить под сомнение величие этого достижения: народ, бродящий, как призрак по миру, после двухтысячелетнего рассеяния, вновь обрел родину. Но образно говоря, это была пиррова победа, ибо одержав ее, сионизм обнаружил свою неспособность решить еврейский вопрос.

Большая часть еврейского народа продолжает жить в странах рассеяния, и Израиль, будучи еврейским национальным центром, сам нуждается в помощи Галута, — еврейства Соединенных Штатов. А что же сионизм? Не исчерпал ли он себя, после того, как стал государственным? Продолжает ли он оставаться идеалом, согревающим сердца людей?

Ныне главным для него стал вопрос о целостном Эрец-Исраэле — включить ли в его состав все завоеванные в 1967 году арабские земли, исторически принадлежавшие древнему Израилю? Этот вопрос был бы, действительно, актуален, если бы была массовая еврейская алия. Но если такой алии нет, то не обернется ли присоединение оккупированных территорий демографической катастрофой, угрозой арабского засилия. Да, границы важны. И в том виде, каким представлял Израиль, согласно постановлению ООН о разделе Палестины, — он был похож на общипанную курицу. Но границы, установленные Освободительной войной 1948 года, позволяют ему успешно развиваться в мировом ансамбле государств.

Судьбоносной на самом деле является другая проблема — проблема еврейской алии. От притока свежих сил в страну зависит сама судьба сионизма — быть ли ему пристяжной лошадейю Израиля, обслуживающей определенные функции государства или оставаться мощным общественным движением, каким он был при своем зарождении. Теоретики целостного Израиля не дают ответа на этот вопрос.

5

Но если Израиль становится доминирующим фактором, что же остается делать сионизму?

Двоякого рода сомнения подтачивают его изнутри. С одной стороны, это факт, что выросшее в Израиле молодое поколение отчуждено от еврейства Галута — для поколения сабр сионистское движение превратилось в анахронизм. С другой стороны — это ущербность сионизма на пути решения еврейского вопроса. Этого своего назначения он не выполнил. Все это и определяет существо духовной драмы сионизма, который подобен птице с подрезанными крыльями.

Бен Гурион, будучи дальновидным политиком, хорошо видел этот процесс подмены идеи государством. Он призывал убрать "леса" (сионизм), которые нужны были для того, чтобы воздвигнуть здание государства. Он призывал заменить сионизм идеей более глубокой, — мессианизмом.

В 1957 году в Иерусалиме состоялось идеологическое совещание, на котором обсуждался вопрос о национальной особенности еврейского народа. Бен Гурион утверждал, что полное единство религии и морали отличает евреев от других народов мира. Им же был выдвинут и другой тезис, что второй основной чертой еврейства является его мессианизм.

На вопрос о будущем сионизма — в его государственной фазе — Бен Гурион ответил: еврейский мессианизм как долговечная идея должна сменить исторически ограниченную идею сионизма. В ответ на это Мартин Бубер иронизировал: "Вот приходит Бен Гурион и утверждает, что идея сионизма умерла, но идея мессианизма живет и будет жить до пришествия мессии".

Похоже, Бубер был прав: умер лишь тот сионизм, задачи которого исчерпывались созданием еврейского государства. Но настоящий сионизм — это любовь к Сиону, этот сионизм живет и здравствует.

"В скольких сердцах этого поколения, — продолжал Бубер, — живет мессианская идея в другом виде, чем ее националистический минимум, ограниченный идеей собирания Галута? Мессианская идея, из которой испарилось стремление к вызволению человечества... совсем не тождественна мессианской идее пророков Израиля". Здесь Бубер несомненно прав: какой же это мессианизм, утративший свои универсальные масштабы?

Итак, после создания государства начался длительный процесс умирания сионизма как идеи. Но злосчастная диалектика истории проявилась и здесь; государство, заменившее собой сионизм, само лишается своей души и своего величия. Оно становится государством как все, тонет в море серых будней и малых дел. И только необходимость защиты от огненного враждебного кольца спасает его и возносит над "злойбой дня". Израиль платит по счету, который вытекает из разрыва национального и универсального в его судьбе. Государственный сионизм означает смерть самой идеи сионизма. И заменить ее может только еврейская национальная идея, широко понятая, сочетающая Эрец Исраель и Галут как единое целое и представляющая еврейский народ как народ универсальный.



Имя Серафима Николаевича Милорадовича хорошо известно в издательских кругах русского зарубежья. Многие из читателей помнят его по газете "Русская мысль", редактором которой он был. Но еще более он известен как руководитель издательства OPI в Лондоне. Наш корреспондент попросил ответить С.Н. Милорадовича на вопросы журнала "Время и мы". Ниже публикуется интервью с директором OPI.

ВСЛУХ О ДЕЛАХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ

Интервью с директором OPI с Серафимом Милорадовичем

— Серафим Николаевич, ни для кого не секрет, что OPI становится сегодня одним из самых популярных и влиятельных русских издательств на Западе. Книги OPI все большую известность приобретают и в СССР. С другой стороны, по сравнению с "Посевом" или "Имкой-Пресс" — это сравнительно молодое издательство. В чем именно вы видите его назначение, если угодно его миссию, — и для Запада и для современной России? Каковы, с вашей точки зрения, его отличительные черты? И что означает в этом смысле само название издательства?

— Это верно, по сравнению с "Посевом", который в этом году отмечает сорокалетие, да и с "Имкой", существовавшей еще до войны, OPI молодое издательство, но и ему скоро исполнится двадцать лет.

"Посев" много сделал для популяризации самиздата, "Имка" выпускает, главным образом, философскую и богословскую литературу, OPI издает много переводов западных

авторов — так что название издательства в каком-то смысле отражает это направление. Вспомним, что еще в конце 60-х годов нашим издательством были изданы Джон Дьюи ("Свобода и культура", Т.Элиот ("К определению понятия культуры", том работ Фрейда ("Избранное"). А что же сейчас? Сейчас мы издаем больше работ, посвященных коммунизму и истории СССР. Среди книг последнего периода: "Русское прошлое и советское настоящее" Алена Безансона, скоро выйдет книга Мартина Малиа "К пониманию русской революции", но есть и исследования, посвященные литературе: "Солженицын" Жоржа Нива, "Марина Цветаева" Марии Разумовской...

Нужно ли говорить, насколько важны, интересны эти книги — и в эмиграции, и в Советском Союзе? Вот несколько слов о книге Безансона. В отличие от многих историков, он не находит аналогии "советскому настоящему" в "русском прошлом", например, советскому террору — в опричнине Ивана Грозного. Социализм как таковой он считает псевдореальностью (при этом отнюдь не думает, что советский социализм не настоящий и что в какой-нибудь другой стране получится "хороший социализм"). Советский социализм он называет идеологической властью. Анализируя эту власть, автор останавливается на сфере языка, которая "представляет собой подлинную арену деятельности идеологической власти". "Вопреки очень распространенному шаблону, советское правительство, — пишет Безансон, — характеризуется не двойным языком, а наоборот, единым языком для обозначения раздвоенной реальности. Одно слово, две реальности. /.../ Во всеобщей действительности противоположностью свободы является рабство. Если, однако, собеседники договариваются о словах, но не о реальности, к которой они относятся, тогда одно слово будет обозначать две противоположные вещи. Так, противоположностью свободы в советском понимании будет то, что мы называем свободой. Противоположностью разрядки будет разрядка, противоположностью защиты мира — защита мира". Отсюда вытекают рекомендации автора западным политикам: "Договариваться с реальностью и не договариваться с ирреальностью. Это жесткое правило. Насколько легче вести

"диалог", то есть выпрашивать о намерениях советских партнеров (они де хотят мира, справедливости, свободы), чем добиваться шаткого, зыбкого, сомнительного раздела сфер влияний, раздела, который не принесет ни славы, ни морального удовлетворения".

Тот факт, что мы предоставляем трибуну иностранным авторам, чтобы взглянуть на советскую реальность их глазами, я считаю важнейшим. Может быть, в этом и состоит наша миссия по отношению к читателям в СССР.

— Где ваша главная читательская аудитория — на Западе или в России? Располагаете ли вы какой-то информацией о влиянии ваших книг на читателей в СССР?

— Мы издаем книги на Западе и распространяем их на Западе, но, слава Богу, они попадают и в Советский Союз. Трудно сказать, сколько у нас читателей в Союзе, но по тем сведениям, которыми мы располагаем, их становится все больше. Прямой информации, конечно, нет, но иногда до нас доходят сведения, что те советские граждане, которые по разным причинам попадают на Запад, знакомы, по крайней мере, с несколькими из наших книг.

— Одна из особенностей вашего издательства бросается в глаза тотчас, как раскрываешь его каталог — это его диапазон: от чисто политических книг, таких, как "Мертвые хватают живых" Доры Штурман или "Революция отвергает своих детей" Леонгарда до утонченной художественной прозы Феликса Розинера, сатиры Войновича и поэзии Вадима Делоне. Как соотносятся в ваших планах литература и публицистика — что это — просто два параллельных направления или у всех ваших книг есть общая идея? Если это так, то, как бы вы могли определить эту идею?

— В России художественная литература во все времена была органически связана с жизнью общества. Литература в России нередко заменяла политику. Писатели становились властителями душ, совестью общества, глашатаями его морали. И это, конечно, мировоззренчески не могло не влиять на политику издательства. Мы издаем книги, рассчитанные на широкую интеллигентную аудиторию. Издаем книги, играю-

щие роль возбудителя сомнений и критического отношения к коммунистической идеологии. И в этом смысле у всех наших книг есть общая идея. Вы упомянули имя Вадима Делоне. Его стихи вышли в издательстве "La Presse Libre" (Париж). Мы же издали его "Портреты в колючей раме". Это книга о лагере, в который автор попал, когда ему был 21 год. Делоне не дождался ни появления этой книги, ни премии Даля, которую за нее получил. Он умер в возрасте 35-ти лет. Его книга живое и волнующее свидетельство жизни лагеря — содержит портреты и узников и охранников — и все они написаны с чрезвычайной доброжелательностью к людям. Кончается книга стихами, из которых видно, что память о прошлой, лагерной, жизни продолжала мучить поэта еще и в эмиграции.

**Думал, все, отстрадал, думал — пой, мол, да пей,
Но в глазах суета беспокойных снегов,
Лай собак и барак и тоска вечеров...**

А вот вещь из совершенно другой области — роман Эли Люксембурга "Десятый голод". Это политический детектив с весьма необычной мистической линией. Его сюжет развивается и в Иерусалиме, где израильская разведка пытается разоблачить подозреваемую провокацию, в пещерах под землей (этим путем пришел в Иерусалим из Бухары герой романа Иешуа Калантар), и в Бухаре (в медресе Сам-Ани), где готовятся кадры террористов для арабских, африканских и латиноамериканских стран, тут, как мы узнаем, готовятся кадры для Арафата. "Десятый голод" — это очень оригинальная и своеобразная книга.

— Обратимся теперь к вашему портфелю. Понятно, что невозможно дать даже примерный перечень книг, выпущенных издательством. Но интересно другое — каков механизм формирования портфеля? Большинство книг вы планируете, заказываете или превалирует самотек? И если самотек, — то достаточно ли часто он приносит "крупницы золота", о которых мечтает каждый издатель? Можете ли вы назвать такие рукописи? И откуда они чаще приходят — из России? И еще вопрос: в какой степени самиздат служит источником формирования вашего портфеля?

— Фактически мы почти никогда не заказываем оригинальных книг, но время от времени нам приходится заказывать переводы, хотя бывает и так, что сам автор переводит свою книгу. В будущем году должна, например, выйти книга Никиты Струве о Мандельштаме. Струве написал эту книгу по-французски и сейчас сам же ее переводит. Или, скажем, Вольфганг Казак, который свой замечательный "Лексикон русской литературы с 1917 года до наших дней" составил по-немецки, а теперь руководит работой над переводом, тщательно проверяя каждую статью. То же самое можно сказать о работе Жоржа Нива "Солженицын": она переведена Симоном Маркишем в сотрудничестве с автором.

Да, мы с большим вниманием относимся к самиздату, но, с другой стороны, у нас нет культа самиздата. Я не думаю, что книгу непременно нужно печатать только потому, что она написана в СССР. Уровень написанного — наш главный критерий. В этом году из пятнадцати напечатанных нами книг лишь две — принадлежат самиздату: "Польская революция" и В.Носова "Ключ" к Гоголю" — эта книга выйдет к концу лета.

Ну а что касается самотека, то, конечно, существует и он. И это нормально. Я думаю, что он существует в любом издательстве. Нам авторы присылают рукописи, и, если эти рукописи нам подходят, мы их, естественно, принимаем. Бывает, что самотек приносит "крупницы золота", хотя мы с вами знаем, что это происходит нечасто. Именно так, например, к нам пришел "Саперлипопет" Виктора Некрасова. Почти весь его тираж сразу разошелся, и через шесть месяцев мы печатали уже второе издание. Конечно, это Виктор Некрасов. Но в общем-то издатель всегда должен надеяться на чудо, на "крупницы золота", которые в любое утро может принести редакционная почта.

— Какие издания последнего года вы считаете самыми значительными? В глазах издателя — среди множества выходящих с издательского конвейера книг — есть одна, с его точки зрения, самая значимая и любимая. Можете ли вы назвать такую?

— Самая значимая? С какой точки зрения? На этот воп-

рос не просто ответить. Может быть, не самая значимая, но, с издательской точки зрения, чрезвычайно интересная книга — недаром же она мгновенно разошлась — судебная комедия Владимира Войновича "Трибунал". Войнович приехал в Лондон, когда русская служба Би-би-си готовила радиопостановку этой пьесы. Мы пьесу прочли и, поскольку это небольшая вещь, решили издать ее сразу же, приурочив к передаче. Тираж разошелся за три месяца. Вот, про "Трибунал" можно сказать, что это была "крупница золота".

Если же взглянуть на наши издания с политической точки зрения, то я бы прежде всего остановился на книге Вольфганга Леонгарда "Революция отвергает своих детей". Она написана много лет назад, но нисколько не потеряла своей актуальности. Превосходно изображено в ней формирование коммунистического аппаратчика. Автор получил образование в школе Коминтерна. В 1945 году он в составе "группы Ульбрихта" поехал в тогдашнюю советскую зону Германии, где исполнял важные задания ЦК СЕПГ. В 1949 году пробрался в Югославию, открыто выступив против сталинизма.

Ну а как самую любимую — я бы хотел упомянуть книгу воспоминаний ленинградского поэта Льва Друскина. Это проза, органически включающая в себя стихи, в которой Друскин рассказал о своей жизни. Судьба его неординарна. Полиомиелит, поразивший будущего поэта в шестимесячном возрасте, навсегда приковал его к постели. В двенадцать лет он стал победителем конкурса "молодых дарований" — его поэтический дар признан и очень скоро он становится активным пропагандистом счастливой советской жизни. Потом — прозрение. Воспоминания Друскина окрашены в светлые человеческие тона, в их просветленности, может быть, их главная сила.

Но самая серьезная и значимая работа — это "Машина и винтики" Михаила Геллера, в которой дан исторический анализ формирования советского человека. Казалось бы, тема не оригинальна. За последнее время столько писали и спорили о том, "что такое гомосоветикус"... Глубокий аналитический подход, показ самого механизма становления советского человека — вот что отличает книгу Геллера. И не случайно

ее французский перевод встречен с таким интересом. То же можно сказать и об "Утопии у власти" Геллера и Некрича. Сейчас мы готовим второе, дополнительное, издание "Утопии" — история Советского Союза будет доведена до "эпохи Горбачева".

Заметим, что реакция западной общественности на книги, касающиеся советских проблем, в каждой стране разная. Мне кажется, что это зависит от "политизации" жизни и от традиций да и от многого другого, что определяет национальный облик страны. Например, Жорж Нива в упомянутой уже мною монографии "Солженицын" пишет о реакции французской публики на "Архипелаг ГУЛаг": "Нам потребовался Солженицын, чтобы понятия добра и зла вновь вошли в наше восприятие истории... чтобы поколение мая 68-го задумалось... о "варварстве с человеческим лицом", иными словами — о тоталитаризме..."

— Разрешите теперь коснуться двух ваших изданий. Одно из них уже вышло — это "Номенклатура" Михаила Восленского, а другое — "Сталин" Бориса Суварина — готовится к выходу. Не могли бы вы подробнее остановиться на этих книгах. Ну, вот "Номенклатура", например. Кто ее автор? Каким образом ему удалось собрать информацию о самых тайных пружинах в жизни советского господствующего класса? Верно ли, что после выхода книги автору было поручено сформировать специальный научно-исследовательский институт?

— "Номенклатура" вышла сначала в немецком переводе. Сейчас она уже издана почти на всех европейских языках. И везде пользуется одинаковым успехом. Мы впервые ее издали только в прошлом году и книга почти разошлась...

Михаил Восленский был в СССР крупным специалистом по Германии, так что, естественно, он вращался в кругах советской элиты, в среде той самой "номенклатуры", которой он посвящает книгу. Но одно дело вращаться в какой-то среде, а совсем другое — наблюдать, исследовать, постигнуть сущность этой среды.

Хотя трудно сравнивать вклад Восленского с вкладом Солженицына в разоблачение советской системы, но мне ка-

жется, что, как до "Архипелага" никто на Западе не знал даже такого понятия, как Г У Л а г , так только благодаря Восленскому западный мир узнал, что такое советская номенклатура. На основе своего опыта, знаний, а главное, на основе анализа автор предупреждает в "Номенклатуре" об опасности коммунизма для всего мира, в первую очередь для Европы.

Профессор Восленский пользуется большим уважением в академических кругах Германии. Он руководит мюнхенским институтом по изучению советской действительности.

— Чем, с вашей точки зрения, замечательна книга Суварина? Ведь о Сталине столько написано. Содержит ли она новую информацию? Или речь идет прежде всего об особом истолковании психологического облика Сталина — его современником и одним из крупнейших историков?

— Борис Суварин родился в России, но его родители переехали во Францию, когда ему было меньше двух лет. В 1921 году Суварин как один из руководителей Французской компартии отправляется в Москву. Сразу же начались стычки с руководством большевистской партии, но Ленин ввел Суварина в состав Исполкома Коминтерна, в Малое бюро и в секретариат. После смерти Ленина, Суварин опубликовал по-французски, без разрешения Москвы, брошюру Троцкого "Новый курс". Пятый конгресс Коминтерна исключил его из Интернационала, затем исключила его и Французская компартия. В начале 1925 года ему удалось вернуться в Париж. Спустя четыре года Суварин порвал с Троцким. Михаил Геллер правильно заметил, что "один из первых французских коммунистов, Борис Суварин стал и первым французским антикоммунистом".

В 1930 году Суварин начал работу над первой в мире биографией Сталина. Книга вышла после многих перипетий в 1935 году (изданию препятствовал — стоит об этом помнить — Андре Мальро). В 1977 году она была издана второй раз — Суварин снабдил ее предисловием и послесловием, доводя историю жизни Сталина до конца.

Переиздание "Сталина" принесло Суварину известность во

Франции. Я хочу подчеркнуть, что автор "Сталина", одной из важнейших книг XX века, одновременно и историк и свидетель — ведь он знал Сталина лично. Впрочем, то же самое можно сказать про Сергея Мельгунова, чью книгу "Как большевики захватили власть" мы переиздали в прошлом году. Очевидец и историк в одном лице, Мельгунов излагает события с августа по октябрь 1917 года.

— И в заключение о планах издательства. Какие наиболее интересные книги выйдут в ближайшее время? Какую из них вы могли бы охарактеризовать как "гвоздь" 1985 года?

— Я должен сказать, что наша программа на 1985 год — весьма обширна. Скоро выйдет книга Юрия Любимова — сценарий "Мастер и Маргарита". Как все мы помним, эта пьеса, несмотря на все препоны со стороны властей, шла на Таганке в течение семи лет. Историю этой постановки Любимов расскажет в предисловии.

До конца года издадим исторический словарь советских пенитенциарных институтов и терминов, связанных с принудительным трудом, — "Справочник по ГУЛагу" Жака Росси. Подобного словаря еще никогда не существовало. Основная — словарная — часть книги описывает несколько лексических пластов: язык заключенных, язык охранников, язык официальных документов. Это и толковый словарь, и энциклопедия, включающая в себя географические, исторические и статистические данные. В то же время — это и живой рассказ автора-очевидца и автора-собирающего показаний тысяч других очевидцев. Кто-то метко сказал, что Росси — это тот же Солженицын, но изданный в детальной и строгой форме каталога.

В нашем плане уже упомянутый мной "Лексикон русской литературы с 1917 года до наших дней" Вольфганга Казака.

К той же категории книг-справочников, книг-документов принадлежит "Советский политический язык". Ее автор — Илья Земцов. Приводимые им понятия и термины — лучшая иллюстрация процитированного мною в начале нашей беседы высказывания Безансона о сфере языка, которая представляет собой подлинную арену деятельности политической власти.

Не могу не сказать о книге Доры Штурман и Сергея Тиктина "Советский Союз в зеркале политического анекдота". Дора Штурман, которую читателям журнала "Время и мы" не нужно представлять, снабдила анекдоты интереснейшими комментариями.

В прошлом мы печатали переводы с польского, но в этом году начинаем издавать "Польскую библиотеку". Первая книга в новой серии — "Нелегалы" (по-польски "Конспира" — Konspira), сборник интервью с руководителями подпольной "Солидарности". Вторая, но это уже в будущем году, — "Иной мир" известного польского писателя, члена редколлегии "Континента" Густава Герлинг-Грудзинского, который во время войны побывал в советских лагерях, то есть в "ином мире".

Готовим мы и еще один перевод. Это, наверное, и будет "гвоздем сезона": роман французского писателя русского происхождения Владимира Волкова о работе КГБ в среде эмигрантов.

Интервью вел В. Борисоглебский

Overseas Publications Interchange Ltd

Сергей СОЛДАТОВ

Зарницы возрождения. Опыт политической борьбы
и нравственного просветительства
Предисловие А.Авторханова.
Вступительная статья Мартина Дьюхерста
464 с. — 10 ф.ст.

Жорж НИВА

Солженицын. Перевод с французского С.Маркиша
в сотрудничестве с автором
248 стр. Альбом фотографий и библиография
8 ф.ст.

Михаил ГЕЛЛЕР

Машина и винтики. История формирования
советского человека
320 стр. — 8 ф.ст.

Дора ШТУРМАН

Мертвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина
и Троцкого
380 стр. — 9 ф.ст.

Анатолий ФЕДОСЕЕВ

О новой России. Альтернатива
335 стр. — 7.50 ф.ст.

Феликс РОЗИНЕР

Некто Финкельмайер
600 стр. — 6 ф.ст.; в мягком переплете — 7.50 ф.ст.
в твердом
Книга удостоена премии им.Даля за 1980 г.

КНИГИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВО ВСЕХ РУССКИХ
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:
OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
8, QUEEN ANNE'S GARDENS, LONDON
W4 1TU, ENGLAND

Overseas Publications Interchange Ltd

Владимир ВОЙНОВИЧ

Трибунал. Судебная комедия в 3-х действиях.
Юмор и сатира на высоком художественном уровне.
76 стр. — 2 ф.ст.

Вольфганг ЛЕОНГАРД

Революция отвергает своих детей
590 стр. — 7 ф.ст.

Михаил ВОСЛЕНСКИЙ

Номенклатура. Господствующий класс Советского
Союза. Предисловие Милована Джиласа
556 стр. — 12 ф.ст.

Ален БЕЗАНСОН.

Русское прошлое и советское настоящее
Перевод с франц. А.Бабича. Предисловие М.Геллера
388 стр. — 7 ф.ст.

Вадим ДЕЛОНЕ

Портреты в колючей раме.
Предисловие В.Буковского. 217 стр. — 4.50 ф.ст.
Книге присуждена премия им. В.Даля за 1984 г.

Павел ТИГРИД

Рабочие против пролетарского
государства. Сопrotивление в Восточной Европе
со смерти Сталина до наших дней
Перевод с французского В.Рыбакова.
176 стр. — 4 ф.ст.

Евгений НИКОЛАЕВ

Предавшие Гиппократы
328 стр. — 8 ф.ст.
Книга представляет собой ценное свидетельство о
злоупотреблении психиатрией в борьбе с
инакомыслящими

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО*Михаил ОСОРГИН***МЕМУАРЫ ИЗГНАННИКА****НА ПУТИ В ОТЕЧЕСТВО**

Свой дом, своя страна — это такие простые и несложные понятия, что только в последнее время не приходится объяснять (например, итальянцам и немцам), что бывают люди, не имеющие ни своего дома, ни своей страны. В 1916 году, который я описываю, исполнилось десятилетие моего бездомного состояния (ныне идет, с перерывом, двадцать первый год). Незаконным местом пребывания была Италия, законным предполагался Нарымский или Туруханский край; мне не успели объявить точно, так как я раньше удосужился использовать молодые силы для побега. Теперь "вернуться домой" — означало проехать прекрасный путь из Рима, через Францию, Англию и северные страны, через Петербург, Москву, через Урал — в далекую Восточную Сибирь. Привычного путешественника такой путь не мог не соблазнять!

К тому же — Вл.Бурцев уже в Петербурге, живет в гостинице против памятника Александру Третьему и упорно не желает никуда уезжать — и с ним ничего не могут поделать!

Примеры заразительны, а брыкаться я умею не хуже другого. Наконец — Нарым, так Нарым, только бы не этапным порядком. "Русские ведомости" (покойный Н.В.Сперанский) на мою телеграмму отвечают письмом: "Ничего с вами не поделаешь! Только не торопитесь: пытаемся устроить беспрепятственный проезд до Питера через В.А.Маклакова". Вон еще когда хлопотал по эмигрантским делам Василий Алексеевич! "Вестник Европы" (покойный К.К. Арсеньев) успокоительно пишет: "А за рассказ и аван высылаем". Вокзал, кучка друзей, букет красной гвоздики... В кармане русский бессрочный паспорт, выданный приставом Тверской части, где на мною вклеенном листочке бумаги ныне покойный Гирс, римский посол, великодушно подписал мною же написанный текст:

"Такой-то заявил посольству, что он добровольно возвращается в Россию".

Но лучше всякого паспорта, по тем временам, журналистский билет: с ним как-нибудь проберусь через воюющие и нейтральные государства!

За этот путь я видел восемь столиц, включая две русских: нервный, готовившийся Рим, траурный Париж, спортсменски-бодрый Лондон, три северные столицы, объевшиеся жирным нейтралитетом, в малом изменившийся Петербург, разухабистую, глубоко-тыловую Москву.

Париж был действительно неузнаваем: печальный, темный, тихий и тревожный. Ни яркого освещения, ни нарядов, ни беззаботных улыбок, — но не было видно и раненых, которых только в России беспечно выставляли напоказ повсюду, а в других союзных странах скрывали по маленьким городкам и местечкам. Париж без музыки, без шумов; Париж без громких фраз: их время уже миновало, у всякого было дело, и от этого дела зависела судьба и Парижа и Франции. Париж без иностранцев, Париж почти без мужчин, и почти все женщины в трауре. И всюду вывески — "молчите, не доверяйте!"

Но Лондон, как всегда, удобный, прочный, уверенный, богатый; только к ночи он превращался в море, по которому были разбросаны прикрытые сверху красные фонари, чтобы

могли по нему неслышными лодками плыть автомобили. В тот год война еще мало отражалась на жизни английского обывателя: Англия воевала не людьми, а фунтами; и не было никого, кто бы сомневался в победе.

Чудовищной и нелепой казалась в те времена необходимость иметь какие-то документы и испрашивать разрешения на проезд из Парижа в Лондон и дальше. Нынче европейские люди, а уж особенно русские, привыкли ко всему: человек без паспорта не человек. До войны за десять прожитых в Европе лет, в постоянных путешествиях, я ни разу не вынул из стола паспорта; правда — он был русский, "внутренний", но иного у меня никогда не было, и в суррогатах я не встречал надобности, — их заменяла визитная карточка или — на почте — журналистский билет. И вдруг — разрешение на въезд в Англию, в Гавре какой-то специальный трамвай до пристани, причем из трамвая выходить нельзя, пароход с потушенными огнями, спасательные пояса, а в Лондоне — новое ожидание запечатанного конверта, с которым нужно сесть в запечатанный поезд и ехать неизвестно в какой порт — для отплытия в Норвегию. Это казалось любопытной игрой в прятки, украшающей путешествие, но с непривычки было и обидным.

Все это происходило не то вечность тому назад, не то — на днях. В вечность ушли события. В вечность ушли и многие из тех, с кем я встретился за месяц в пути в Россию. Но совсем недавно с "великим еврейским диктатором" В.Е.Жаботинским мы напевали в Париже любимые неаполитанские песни, как это было до войны в Риме и во время войны в тихом Челси, лондонском квартале, милом сердцу художников. Впрочем, в то время Жаботинский, сейчас гремящий на конгрессах, был более россиянином, чем евреем, и более одесситом, чем гражданином мира и будущим президентом Палестины, куда его пока, кажется, не пускают. Писал он отличные статьи в "Русских ведомостях". Жаботинский показывал мне Лондон: "Вот это — триумфальная арка!" И на обратном пути: "Не забудьте, что вот это — триумфальная арка". Вестминстерское аббатство я догадался отыскать по плану сам. Но замечательнее всего были английские солдаты в превосходно

сшитой форме, поглощавшие на улице шоколад, который они вынимали из специального карманчика. Затем мимо той же арки я проехал на вокзал, предъявил свой пакет и был, как и все, погружен в вагон с завешанными окнами.

В "неизвестном порту" проверка паспортов, в том числе и моей филькиной грамоты, вполне удовлетворившей чиновников. Будто бы за какой-то занавесочкой подозрительным лицам "проявляли" спины, — не написано ли что-нибудь химическими чернилами. Затем — спасательные пояса на случай вражеских подводных лодок. Я не надел, сообразив, что в случае катастрофы раньше схвачу насморк, чем доплыву до норвежских берегов. На темной палубе подсаживаются удивительно не остроумные сыщики и на всех языках заговаривают о том, что "у немцев дела идут не так плохо, сэр, месье, синьор, мейн гер, господин?" Держу себя образцовым "канниферштаном", помня о мудрости парижских плакатов: "Молчите, не доверяйте!"

Рано утром — майское сияние норвежских фиордов. В следующем, третьем, периоде бездомности, я непременно избираю пристанищем одну из северных стран, предпочтительно Норвегию; там прекрасно дышится, там пахнет хвоей, а люди сияют здоровьем. Я ехал с развалкой, отдыхая в городах, не торопясь использовать куковский билет. На вокзале в Христиании, ныне для нашего уха неблагозвучно переименованной в Осло, увидел русского посланника К.Гулькевича, которого знал по Риму. Но как эмигрант, не подошел, чтобы не смущать его знакомством. Спустя семь лет, когда он сам стал эмигрантом, а я высланным советским гражданином, ничто нам не воспрепятствовало, в компании с общим другом, опять же ныне покойным, проф.А.А.Чупровым, запить янтарным фраскати добрую тарелку макарон в римском кабачке. Земля очень маленькая — встретиться легко. С другим посланником, шведским, Неклюдовым — без труда вспомнили, что уже беседовали в Софии в дни болгаро-турецкой войны, — теперь продолжили беседу в Стокгольме. Его сестра ведала там большим и нужным делом — организованным сношением наших пленных в Германии с их родными в России и по-

мощью этим пленным. За несколько недель, проведенных в Стокгольме, я прочитал сотни писем, самых трогательных и самых лаконических, — и понял горе России раньше, чем вступил в ее пределы.

Здесь моим чичероне был, конечно, также корреспондент "Русских ведомостей", маленький человек с разбитой грудью (разбитой прикладами), с худенькими вывороченными руками и тонким детским голоском, отличный наш информатор по положению дел в Германии. Его статьи, написанные скучновато и очень деловито, составленные по великолепным источникам, читались с великим вниманием. Двумя годами позже он стал одним из соправителей большевистской России, — это был Лурье, он же Ларин, фигура довольно комическая и ужасно ученая, целиком марксистская. Злодея из него не получилось, и, кажется, незадолго до смерти он впал в немилость. Он мне показывал не триумфальную арку, как иронический Жаботинский, а "народные массы", стокгольмские народные массы очаровательно веселились на гуляньях — катались на каруселях, взлетали к небу на качелях, стреляли в кружочки и трубочки, визжали на колеблющихся мостах, бледными выходили из балаганов, где за мелкую монету показывали всякие страсти. Все это проделывали и мы с будущим народным комиссаром, по слабости здоровья воздержавшимся только от качелей и изумительного вращающегося диска, с которого люди вышвыривались комочками на периферию. Когда меня вышвыривало — он стоял в сторонке и любовался. Позже повторилось то же самое в Москве: меня вышвырнуло, а он стоял в сторонке. Затем иным, огромным и неумолимым диском его вышвырнуло из жизни, и вот я пишу о нем в ожидании своей очереди.

Ларин любезно проводил меня на вокзал. Поезд шел в Торнео. Был июнь, и в день моего приезда на русскую границу солнце только на час опустилось за горизонт. В поезд меня посадил будущий народный комиссар, из поезда вывел жандармский унтер. Очень вежливый полковник, очень долго писавший протокол, несколько раз обеспокоился: "Не дует ли на вас из окна?" — "Нет, ничего". — "Не простудитесь!

Ваш паспорт я оставляю при протоколе, а вы получите пропуск до Петрограда согласно полученной мною телеграмме". — "Отлично. А у вас чудесная собака!" — "Это английский сеттер. Эй там, проводишь господина обратно в вагон!" — "Слушаю". — "А уж как будет с вами дальше, я не знаю".

И опять стучат колеса под вагоном. А вагон широкий, удобный, таких в Европе нет. До Белоострова земля своя лишь на половину, дальше пойдет совсем своя. Уже чую дым отечества! И уже другой жандарм, моложе и параднее, входит в вагон на Белоостровской станции:

— Пожалуйте в комендантскую!

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ — КЛУБ ПИСАТЕЛЕЙ

Через месяц (1 декабря) исполнится шестьдесят лет со дня рождения поэта-символиста Валерия Яковлевича Брюсова. Любопытно, почтит ли кто-нибудь там или здесь его память. Недавно, перелистывая его напечатанный дневник, я вспомнил мимолетные с ним встречи в Москве, правда, — совершенно незначительные; живя за границей в период расцвета его литературной славы, я близко никогда его не знал и познакомился с ним только в 1917 году не как с поэтом, а как с... представителем цензурного ведомства.

В то время кооперативное объединение издавало газету "Власть народа", большую и богатую, в которую ушли писатели и публицисты "левее "Русских ведомостей". То ли было это во времена "керенские", то ли уже после октябрьского переворота (последнее вернее), но только нужно было обеспечить выход газеты на случай ее закрытия. Поэтому мы придумали еще два названия ("Родина" и "Наша Родина") и решили их заявить, — тогда был "явочный порядок". Вела газету редакционная коллегия, и для каждого названия был назначен подписывающий газету редактор; "Родину" должен был подписывать я, — что и кончилось для меня позже судебным процессом, в котором меня обвинял Крыленко; но это — между прочим, а говорить будем о Брюсове.

Почему-то Брюсов был цензором, не переставая быть поэтом. А впрочем, в истории русской литературы это — не первый случай, в военное же время писателей-цензоров было много; знавал я таких еще в болгаро-турецкую войну (Семен Радев, Васильев и др.). С заявлением о "новой" газете я отправился знакомиться со знаменитым символистом.

Принят был с исключительной любезностью и заметным смущением. О газете и говорить не пришлось ("разумеется, разумеется!"), а обоюднo выразили удивление, что до сих пор не встречались ни в России, ни за границей, перебрали общие знакомства, немножко потолковали о литературе. Я спросил Брюсова, почему он не показывается в литературных кружках, в частности, в нашем "Клубе писателей", и понял, что вопрос мой нетактичен: Брюсов очень стеснялся своего цензорства, дававшего ему кусок хлеба, а главное, того, что он не оставил своего поста и тогда, когда цензура перестала быть только военной и начала ощущаться осязательно и в прочих отношениях. Затем я забрал свою бумагу с соответствующей печатью и брюсовской подписью, — и мы простились. Запомнилось его приятное лицо, хотя и с нечистой кожей, и его несомненная нравственная усталость. Он принимал меня в отличном и очень обширном кабинете, и в ведомстве своем был, вероятно, почтенен и уважаем.

И еще была вторая и последняя встреча — уже совсем иного сорта. Я не раз упоминал, что память у меня достаточно дырявая, особенно на имена и названия, — заранее прошу простить возможные ошибки. Как назывался имажинистский кабачок на Тверской улице между Страстной площадью и площадью Советов (Генерал-Губернаторской)? Мне кажется, что-то вроде "Стойла Пегаса". В этом самом "Стойле Пегаса" подвизались тогда Есенин, Шершеневич, Мариенгоф, Кусиков и еще немало поэтов имажинистов и ничевоков. Имажинисты были смелы и малопонятны, ничевоки окончательно храбры и совсем непонятны; это было причиной большой популярности тех и других, и кабачок был по вечерам полон публики, в которой преобладали не писатели, а нувориши голодного времени и средней власти "комиссары", которым ничего не стои-

ло платить кучу бумажек за отвратительный кофе с настоящим сахаром и отчаянного вида сладкие пирожки.

В 9-10 часов вечера "Стойло" полно. На эстраду один за другим поднимаются поэты и читают отрывки своих произведений. Особенно эффектными строками расписаны стены кабачка. Ценителей поэзии мало, да и не в поэзии дело, а в возможности зычным голосом выкрикивать слова и выражения, которыми можно свалить с ног ломового извозчика и фельд-фебеля царских времен. Вероятно, сначала это сильно действовало на посетителей пегасова стойла, но понемногу все привыкли и спокойно помешивали в чашках оловянными ложками. Особую пикантность придавало выступление поэтов с такими же непристойными словоизвержениями, — в ответ на которые публика подавала реплики. Иногда было обидно, что за дешевыми эффектами оставляются без внимания по-настоящему талантливые произведения и прекрасное их чтение, — нельзя, например, отнять у Есенина, что он некоторые свои вещи читал превосходно, особенно "Пугачева".

Кафе кормило поэтов, и им приходилось заботиться о репертуаре. Когда маленькая обычная кучка имажинистов публике поднадоела, стали приглашать гастролеров с именами. В качестве такового был приглашен и Валерий Брюсов, которому жилось тогда, вероятно, очень туго; его цензорство прекратилось с закрытием всех частных газет.

Брюсов не только силился "принять революцию", но и пытался не отставать от поэтической молодежи: "идти вперед". Удавалось это ему плохо, а молодежь признавать его своим не хотела. Его выступление в "Стойле Пегаса" было настоящим унижением. Небрежно анонсированный с эстрады, он читал плохо и неинтересно под презрительные улыбки имажинистов и под разговоры привычно-равнодушной публики. Когда после жидких аплодисментов он удалился в угол к своему столику, отдельному от кучки хозяев "Стойла", мне стало искренно его жаль: все-таки крупный поэт, сыгравший в свое время значительную роль, бывший кумиром и учителем. Я встал и перешел к его столику, чтобы поздороваться, и увидел на его лице большую радость, — больше никто к нему не

подходил. Точно нанятый музыкант, затычка в программе, третьестепенный артист кабаре. На этот раз он был смущен гораздо больше, чем, когда я пришел к нему как к цензору.

Я постарался быть не просто вежливым, а почтительным к старому писателю и осведомился о том, как ему живется и что он делает. Он охотно, даже с жаром принялся рассказывать о своем тяжком быте, — в те дни тяжком для всех, — и вдруг я увидел Есенина, который пробирался между столиками, держа на отлете руку, в кулаке которой была небрежно зажата куча соответствующих тысяч и миллионов — гонорар Брюсову за выступление. Имажинисты любили делать все грубо и на виду у всех, а может быть, нарочно хотели подчеркнуть, что "этот" — сторонний для них человек, которому они хорошо платят. Заметил это и Брюсов, и у него дрогнуло лицо. Чтобы не присутствовать при сцене, я поспешил оборвать нашу беседу и отойти, пробормотав: "Ну, еще увидимся!" Видел потом, как Есенин подошел к Брюсову и высыпал перед ним на столик кучу бумажек, похожих на бутылочные этикетки, и как прославленный поэт, покраснев, сгреб их в карман.

Больше я Брюсова не встречал. Он не бывал ни в нашем "Клубе писателей", хотя, кажется, был его членом, ни в образовавшемся тогда "Всероссийском союзе писателей". Да как-то про него и слышно не было.

* * *

Вспомнился попутно московский "Клуб писателей". Два слова и о нем.

Он образовался в дни войны, но до революции; я вступил в него по возвращении из-за границы, кажется в том же 1916 году. Клуб был тогда очень замкнутым — без жен, мужей и гостей. Прием в члены производился только единогласно. Никакого президиума и правления, помнится, не было, а был секретарь (в то время один из младших — Вл.Лидин). Из членов помню Ив.Бунина, М.О.Гершензона, Б.Зайцева, Г.Чуйкова, Ал.Толстого, Андрея Белого, Вяч.Иванова, П.Муратова, Вл.Ив.Немировича-Данченко, Н.А.Бердяева, Вл.Лидина, Бор.

Грифцова, Ив.Новикова, Ал.Койранского, Нат.Крандиевскую (жену А.Толстого), ее мать — Ан.Ром.Крандиевскую, старую беллетристку. По-обыкновению, — многих забываю. Кажется, были членами драматург Волькенштейн, по тому времени поэт — Илья Эренбург. Большинство — беллетристы, затем философы, историки и критики литературы, допускались и публицисты, но были, кажется, только двое: И.В.Жилкин и Е.Д.Кускова, в защиту кандидатуры которой было сообщено, что она в свое время согрешила беллетристическим произведением.

Клуб собирался на частных квартирах — раньше у Ан.Ром.Крандиевской, — и там необычайный туман пускали Вяч.Иванов и Андрей Белый, и вообще были заправские "прения", и пили чай с печеньем. Приятнее всего заседали у Ал.Толстого, — уже с пельменями и обильной "подливкой"; И.А.Бунин читал нам здесь свой рассказ "Петлистые уши". Под конец, уже в революционное время, стали собираться в Художественном театре у Вл.Ив.Немировича-Данченко в кабинете; к тому времени состав клуба увеличился, и помню членов — старика В.А.Гиляровского, всем предлагавшего понюхать табачку с малинкой из табакерки, которой не побрезговал даже отрицатель табаку Лев Толстой. Членом была и его дочь Надежда Владимировна, молодая и неудачливая беллетристка. Еще, кажется, Ник.Эфрос, тогда попавший в художественные критики "Русских ведомостей". Но гости все-таки не допускались.

После "октября" ядро этого "Клуба" основало "Всероссийский союз писателей", который сохранял свою независимость до 1922 года, до высылки за границу писателей и профессоров. Был "Союз" и в Петербурге, но объединиться мы никак не могли, — не было имени, на котором можно было сговориться, и различна была "целеустремленность"; петербургский союз искал покровительства, мы же этого покровительства так боялись, что даже не называли себя союзом "профессиональным". Одним из главных создателей союза и его первым председателем был М.О.Гершензон; вторым председателем был поэт Юргис Балтрушайтис, впоследствии литовский посол, а третьим Бор.Зайцев.

После высылки за границу целого ряда членов Союза и бывшего Клуба, — да еще часть (Белый, Зайцев, Муратов, Ходасевич, Эренбург) раньше уехала добровольно, — попробовали возродить наш клуб в Берлине. Это уже — новая история, и я только упомяну, что в то время (1922-1923 года) между писателями "зарубежными" и "советскими" не было разрыва, и московские гости бывали у нас в Берлине, не смущаясь столь скандальной дружбой; и не только бывали, но и выступали на собраниях в ресторане на Ноллендорфплац. Это уже потом пошло отчуждение, в котором вряд ли виновата та или другая сторона: виноваты обстоятельства. Сейчас, — сами понимаете, — писатель, вырвавшийся проветриться за границу, земляков чурается, — дело опасное! Разве что, если уж очень хочется повидать старого друга, придет к нему ночью с загадочным лицом и, завернувшись с головой в плащ, — и уж о таких случаях мы, конечно, никому не расскажем, а тем более не расскажем дома он.

И, наконец, последняя попытка восстановить былой московский клуб была испробована в Париже, когда сюда переселились стада русских кочевников. Она была так неудачна, что и вспоминать не стоит. А почему, — об этом говорить рано, тема не мемуарная. Может быть, впрочем, потому, что на чужой земле и люди постепенно становятся чужими друг другу, теряют духовную связь, делаются более склонными царапаться. Много всяких причин.

С тем большим удовольствием вспоминается ладная наша писательская жизнь в Москве, — и в лучшие, и в плохие, и в совсем ужасные времена. Если у оставшихся и новых писателей сохранилось что-нибудь подобное, если живая связь между ними существует и не терпит ущерба от столь изменившихся условий духовного существования, — порадуемся за них и смиренненько пожалеем самих себя. Если нет, — пребудем в печали товарищами по несчастью. Все это вернется когда-нибудь, все это еще вернется, — будем надеяться, если не за себя, то за более молодых...

КАК МЫ ТОРГОВАЛИ

Всегда с удовольствием и особой нежностью вспоминаю время, когда я стоял за прилавком Книжной лавки писателей в Москве. Пятнадцать лет истекло со дня ее основания; я писал о ней довольно подробно в библиофильском "Временнике", — здесь хочется вспомнить о нас самих, нечаянных хозяевах-приказчиках.

Мы открыли писательскую лавку, когда были закрыты все журналы и газеты, — открыли для заработка и чтобы не расставаться с книгой. А так как вскоре все книжное дело было национализировано и все магазины исчезли, то наша лавка, бывшая под покровительством Всероссийского союза писателей и как-то уцелевшая, оказалась "вне конкуренции" и обслуживала всю Москву и всю Россию; в Петербурге возникло и удержалось такое же предприятие (книжный кооператив "Петрополис"), несколько отличное от нашего по целям и характеру организации. На правах кооператива (а правильнее сказать — неизвестно почему) мы покупали и продавали книги безо всяких разрешений, обслуживая частных лиц, библиотеки и университеты. Так просуществовали мы пять лет, пока знаменитый нэп не задавил нас конкуренцией и налогами.

В девять часов утра лавку отпирала фигура в валенках и барашковой шапке, молодой историк литературы и популярный, особенно у слушательниц, лектор Борис Грифцов; иногда раньше успевала прийти наша кассирша Е.Дилевская, обладательница прекрасного сопрано, будущая артистка, едва не потерявшая голос за морозным прилавком. Чередуясь дежурствами, являлись Борис Зайцев и философ Ник.Ал.Бердяев. неизменно весь день проводили в лавке нынешний хороший советский писатель Ал.Ст.Яковлев и я. Мотыльком залетал и на часы застревал проф.Ал.Карп.Дживелегов, один из лучших наших "приказчиков". Таков был наиболее постоянный состав пайщиков; еще трое из учредителей пробыли у нас недолго (отличный книговед М.В.Линд, искусствовед П.П.Муратов — ныне неблагополучно отбывший на Дальний Восток, и поэт В.Ф.Ходасевич).

Вели дела, главным образом, мы с Грифцовым, который жил у меня в Чернышевском переулке, почти рядом с лавкой (она была в Леонтьевском, потом на Большой Никитской): общий распорядок, закупка книг, расценка, касса, колка дров, растопка печурки, работа на складе. По части перевозки книг на санках вне упрека был милейший Яковлев. Обласкать покупателя и составить каталог фундаментальной университетской библиотеки никто не умел так, как "историк Возрождения" Дживелегов. Все качества деловой неосведомленности и купеческой бесталанности соединял в себе Борис Зайцев, ведавший отделом беллетристики; конкуренцию ему в этом отношении составлял Н.Бердяев, очень серьезно относившийся к делу, но ни разу не завязавший веревкой пакета правильно. Но зато по отделу книг философских было некому с ним сравняться!

— Есть у вас сочинения Ницше? — спрашивал покупатель.

— А вот, пожалуйста, обратитесь к профессору Бердяеву.

Момент кипучей торговой деятельности Николая Александровича!

— Вам Ницше? Вы хотите на немецком или на русском языке?

— Лучше по-русски.

— Русских изданий Ницше несколько. Хуже других издание Клюкина — и перевод плохой, и подбор материала.

— Я хотел бы издание хорошее.

— Есть и другие издания, но тоже с недостатками.

Следует подробное исследование русских изданий Ницше. Покупатель слушает с почтением, философ излагает с полным знанием дела и желанием помочь покупателю в выборе. Наконец, выбор сделан и Николай Александрович говорит:

— К сожалению, этого издания у нас нет.

— Ну, тогда я возьму другое, ничего не поделаешь.

— Да, это очень обидно, но сейчас такое время...

— Вы можете мне показать?

—Что?

— Какое-нибудь издание Ницше.

— Но вы хотите непременно русское?

— Мне хотелось бы русское.

—Но у нас русских изданий сейчас нет.

— Совсем нет? И даже клюкинского?

— И его нет. Но это издание плохое!

— Ах вон что, я не понял! Ну, тогда мне придется взять немецкое, хотя я не так свободно владею языком. Вы все-таки мне покажите.

— Немецкое издание? Это ведь очень редко попадает. У нас нет немецкого издания!

И Н.А. Бердяев с улыбкой доброты и искреннего сожаления смотрит на непонятливого покупателя. Его действительно огорчает, что он ничем не может помочь естественной любознательности этого человека.

Покупатель смущен, но разговор продолжается. Бердяев авторитетно и убежденно разъясняет что-то о книге Лихтенберже, которая дает известное представление о Ницше, но имеет, конечно, и свои недостатки. В общем, ему удается заинтересовать ищущего премудрости, который не прочь книгу купить и с осторожностью спрашивает:

— А у вас есть Лихтенберже?

— То есть у меня лично или в лавке? Вы хотели бы купить?

—Да.

— Но у нас нет Лихтенберже.

—А...

Покупатель уходит в некотором недоумении, а Николай Александрович огорченно говорит:

— Это очень обидно, что у нас нет Ницше! Вот человек интересуется, а достать ему негде. Так неприятно отказывать...

Борис Зайцев — по части классиков и современной русской литературы. Отношение к разным писателям у него определенное, но он не вполне понимает, почему иногда хорошее произведение стоит дешево, а плохое дорого. Кроме того, он путает тысячи и миллионы, не знает содержимого наших полок, а завернутый в бумагу и завязанный им пакет обычно развязывается и разваливается. И вообще он как будто удивляется, что вот мы торгуем — и ничего, не только не прогораем, а сегодня на доходы купили "партию масла", по фунту на человека.

Зато — какой талант у профессора Дживелегова, вечно молодого, никогда не унывающего! Мужчин он побеждает ученостью и уверенностью суждений, женщин, главным образом, тем, что всех их он зовет "милыми девушками", не исключая и почтеннейших и не скрывающих возраста:

— Слушайте, милая девушка, ну что за радость читать романы Жип, когда у нас чуть не все сочинения Бальзака! Пойдемте-ка к иностранной полке.

Или слышится уверенное:

По истории? Не только исторический отдел, но можем в две-три недели подобрать образцовую фундаментальную библиотеку. Словари? Ну, конечно, все что угодно.

И правда, — мы доставали все, и книги закупались у нас целыми возами и грузовиками. При ежедневном падении цены денег, такая торговля "на всю Россию" давала нам возможность питаться не только просом, но иногда и кониной и помогать нуждающимся писательским и профессорским семьям.

Ал.Степ.Яковлев специализировался на учебниках и покупке книг у обывательской бедноты. Часто приносили нам книги, которые ни к чему не были нужны. Александр Степанович удалялся с продавцом в дальний угол, шептался и смущенно передавал в кассу чек.

— Вот заплатите за книги, я купил.

А по уходе продавца хватался за голову руками:

— Куда мы этот хлам денем! Тут ничего нет дельного.

— Да зачем вы купили?

— Нельзя было не взять. Человек от голода шатается, принес последнее.

Мы называли его "эксплуататором вдов" — и он серьезно огорчался.

Он же чуть не рыдал, когда у нас самым наглым образом крали книги с полок — вход был свободный.

— Это же невыносимо! Я все время следил и видел, как она клала себе в мешок книжку за книжкой! И ведь ничего не понимает, без всякого разбора, только бы в переплете.

— Что же вы не уличили ее?

— Как же я могу? Ведь это какой стыд! Красть книги! И не в первый раз, я потому и следить стал. В следующий раз я ей прямо скажу: убирайтесь вон!

Но никогда сказать не решался, и при наших хозяйственных расчетах мы просто клали столько-то на покражи как на необходимое зло. Бывали у нас и кражи со взломом, — и тогда мы привешивали новый замок покрепче. Крали неизменно пять томов Грабаря, "Императрицу Елизавету Алексеевну", сомовскую "Маркизу" и еще несколько дорогих изданий, — так называемую "валютную книгу", на которую всегда был покупатель. Воры были умные и знающие.

В полушубке, отличных казанских валенках и двух парах вязанных перчаток я бегал из лавки на склад, который был устроен этажом выше, в номерах полузамерзшей гостиницы. Собственно, замерзла она целиком, но мы в одной из комнат поставили печурку, и было возможно, не совсем отмораживая пальцы, перелистывать страницы книг. Мой отдел был — старинная книга, самая драгоценная и меньше всего привлекавшая покупателя. Огромные кожаные Четьи-Минеи, издания петровские, как и чужеземные эльзевиров и альдины, шли за щепотку муки. Но какое наслаждение их разбирать, определять, расценивать! И какая радость, когда они попадали в руки любителя и знатока, а не случайного покупателя. В других комнатах склада подбирались разрозненные томы классиков, составлялись комплекты журналов и многотомных сочинений, выполнялись большие заказы. За пять лет через нашу лавку прошли великие книжные богатства и редкости, и каждый из нас, пользуясь нами же определенным книжным "пайком", составил себе избранную библиотеку; даже служивший у нас одно время рассыльным малограмотный солдат, получавший "паек" наравне со всеми, составил себе библиотеку классиков и вышел бы в люди, если бы, соблазнившись доходной спекуляцией и местом милиционера, не ушел от нас и вскоре не сделался налетчиком и бандитом.

Стоило бы назвать клиентов нашей лавки, среди которых было много людей известнейших и в ученом и в административном мире, — но можно ли помнить все имена советских

граждан. К нам шли все, потому что достать что-нибудь в национализированных магазинах было почти невозможно: ими заведовали люди невежественные, и покупатель обязывался представлять мандаты и разрешения. Нас терпели, потому что в книге нуждались и те, кто способствовали ее гибели на новых казенных книжных кладбищах, где она гнила в затопленных подвалах и раскрадывалась заведующими. Возникавшие при разных учреждениях и рабочих клубах сотни новых библиотек предпочитали обращаться туда, где все делалось просто и скоро, безо всяких формальностей, а нищавшая интеллигенция и коллекционеры несли к нам свои сокровища, чтобы обменять их на хлеб и избежать конфискации. Мы брали все, платя, сколько были в силах, — от подлинных писем Екатерины Второй до трепаных учебников. Быстрый оборот помогал благодетельствовать и продавцов и самих себя.

В дни нэпа возникли другие книжные лавки (поэтов, "Задруги" — с С.П.Мельгуновым и А.А.Кизеветтером, лавка проф.Виппера и др.). Наша фирма, как "старинная", от конкуренции страдала не сильно, но когда нас обложили полугодовым налогом, далеко превосходившим наш валовой годовой приход, — пришлось сложить оружие и сдаться. Лавку мы продали, выручив в золоте ту самую ничтожную сумму, какую внесли вскладчину при учреждении. Это было, конечно, блестящей операцией.

Как не вспоминать с любовью и радостью о живой работе, которая всем нам позволяла не служить и делать настоящее дело! Свой паек был слаще пайков казенных, да и питательней. Вспоминаю, как Н.А.Бердяев, получавший, по профессорскому званию, паек "академический", привез однажды в лавку целый мешок селедок. Все за него радовались, но он не знал, как расплатиться с извозчиком, которому обещал уплатить селедками. Запыхавшийся и взволнованный, он спросил меня:

— Да, но сколько дать ему селедок?

Я серьезно ответил:

— Конечно, пять.

— Вы думаете — пять?

— Непременно шесть.

— А почему именно шесть?

— Потому, что семь.

Он стал отсчитывать из мешка, но опять усумнился:

— Не следует ли выбрать ему самые большие и жирные?

— Ну, конечно, выберите лучшие восемь селедок!

Он выбрал девять, накинул еще одну — и был страшно счастлив, что извозчик был удовлетворен и долго, сняв шапку, его благодарил. Но, как и в лавочных делах, всегда обстоятельный и философски точный, он не мог установить для себя окончательно, сколько селедок было правильной нормой оплаты труда извозчика.

— Вероятно, все-таки семь, потому он так благодарил. Но я, конечно, не жалею, и у меня осталось втрое больше. Это даже слишком...

— И понятно! Ведь вы же — профессор, а он только извозчик!..

КАК НАС УЕХАЛИ (Юбилейное)

На Москва-реке, под крутым берегом деревни Борвиха, под правым ее крылом, опытный рыболов может проводить часы и дни не без пользы и с удовольствием. Деревню Борвиху открыл молодой сельскохозяйственный профессор, бывший в немалом уважении у правящих, а сейчас сидящий в узилище. В первое лето он сманил в Борвиху своих приятелей писательского звания; из них один сейчас создает идеологию газеты "Возрождение", а другой выступает еретиком в "Последних новостях". Еще через год в Борвихе поселилось много дачников, часть которых и до сей поры не изменила деревушке, а часть предпочитает Пиренеи и Пари-пляж.

Десять лет — достаточный, по-моему, срок, чтобы о личном трагическом писать с улыбкой. И все-таки с некоторым беспокойством я приступаю к этой страничке юбилейных воспоминаний: вспомнишь что-нибудь забавное, что другие

позабыли, — и выйдет недоразумение. Поэтому, вопреки добродушному обычаю, буду больше говорить о себе, чем о людях одной судьбы.

На берегу были густые заросли, в которых сидел с удочкой покойно, а сверху не видно. Последнее было очень важно, потому что, по уговору, я не должен был сидеть на виду. Даже перекусить обещали принести мне сюда; а в случае каких-нибудь полуожиданностей, прибежит ко мне мальчик или помашут платком с видного места.

Как на грех, брал только ерш, а это скучно. Смотав удочки, я хотел переменить место — и увидел сигнальщика. Значит, — собирайся, приехали! В эту минуту решила для меня судьба предстоявшего десятилетия — а то и больше.

Дело в том, что почтенному философу, с которым мы тогда делили деревенский уют и который сейчас живет в Кламаре, пришлось в голову побывать в Москве на своей городской квартире. Ждали его обратно вечером, но он не вернулся. Вместо него приехал знакомый и рассказал, что в Москве идут аресты писателей и профессоров, и в числе других взят и наш милый Николай Александрович.

При нашей привычке к тогдашним нелепостям арест Н.А. Бердяева — величайшая политическая чепуха — нас не удивил. Называли и других, столь же чуждых вской активной политике, столь же далеких от того, чтобы быть "врагами революции" и "белогвардейцами". Значит — такая уж судьба, просто — пришел черед. Поэтому ночь переспав на даче, с утра я засел в камышах — может быть, и за мной приедут. А так как только этой весной я вернулся из казанской ссылки (за участие в помощи голодающим), то очень не хотелось опять возвращаться на Лубянку, где перед ссылкой я прошел курс трехмесячного гниения в зацветшей плесенью камере.

Адресных столов в деревне не водится, а местный совдеп за рекой. Когда я с удочками проходил мимо перевоза, там слезали с автомобиля приметные фигуры с наганами и в сумонных шлемах, созданных по рисунку художника Бертрама. Они торопились, а я не спешил, — и разошлись мы мирно. Не станет же враг отечества и пролетариата шляться с удочками

по берегу Москва-реки! Потом, уже из прилеска, с высокого места, я видел, как они возвращались в лодке, заводили машину и, гудя мотором, подымались в нашу дереvушку.

Люди были не простые, а хитрые; не ворвались с полицейской грубостью, а вежливо сообщили, что имеют передать мне письмо от товарища Луначарского, но непременно лично. Так как с тов.Луначарским я в переписке отродясь не состоял (кстати, — и зря трепали его имя, он был против нашей высылки!), то приехавшим заявили, что я в Москве. Уехали с недоверием, поставив крестьян сторожить ночью. Не знаю, взяли ли бы меня крестьяне, если бы я вернулся. Но сторожить — сторожили и между собой беседовали о событии;

— Того, патлатого, в городе забрали, а этот, видишь, ушел.

В их представлении мы, вероятно, были ловкими бандитами. По признаку патлатости, несмотря на всегдaшнее изящество летнего костюма (мне, как рыболову, несвойственное), Н.Бердяев мог легко сойти за атамана.

И вот иду, сначала полями, затем углубившись в лес. Как раз в эти дни повылезли из земли белые грибы — целыми выводками, крепкие, полные соблазна. И жалко их ломать — и невозможно не наклоняться! Удочки и рыболовный мешок я бросил в кустах, собирать грибы не во что. Очень было обидно. Через лес проложена дорога, от которой я держался в сторонке; раз, заслышав шум мотора, залег на минуту в густой чаще. А проходил через заповедный лес, где сосны стоят со дней царя Алексея Михайловича, и ствол в поперечнике в рост большого человека. Это была последняя красота, которую я видел в России.

Думаю, что путь я избрал правильный: в сторону летней резиденции многовластных людей: Троцкого, Дзержинского, Каменева. Было какое-то очень странное старое имение, окруженное высокой каменной стеной; туда они приехали отдыхать из Москвы, там жили и их семьи. А в стороне, совсем рядом, три крестьянских домика, из которых один был мне дружественен; в нем я и решил провести несколько дней, пока выяснится, почему нас преследуют и что нас ждет. Здесь искать уж, конечно, не будут, — и правда не искали.

По малой своей осторожности, выходя гулять в лес, встречался с дачниками, и не совсем удачно: один раз — с сестрой Каменева, другой — с женой и сыном Троцкого; обе сановницы меня, кажется, знали, Каменева во всяком случае; она была раньше постоянной посетительницей нашей, лишь недавно ликвидированной Лавки писателей. Об арестах писателей и ученых говорила вся Москва, так что и здесь, конечно, знали: однако для меня обе встречи прошли благополучно.

Но не вечно же жить в лесу? Из Москвы сообщили, что некоторые из арестованных уже вылущены, и всех высылают за границу. Высылка применялась впервые, — все же это лучше тюрьмы. За что берут и высылают самых мирных людей — неизвестно; но в то время у нас гулял по Москве анекдот про анкету, которую должны были заполнять все граждане. В этой анкете был, будто бы такой пункт:

"Были ли вы арестованы, и если нет, то почему?"

Коротко говоря — отправился и я на Москву, конечно — не домой, а в дружеский дом, в частную лечебницу, где меня записали больным. Делами арестованных и высылаемых ведал следователь ГПУ товарищ Решетов (тогда неизменно прибавляли к фамилиям слово "товарищ"). Рискнул ему телефонировать:

— Товарищ Решетов?

— Я. Кто спрашивает?

— Такой-то. Правда ли, что вы меня разыскиваете?

— Д-да...

— Что же, приехать к вам?

— Да, вы должны явиться.

— А скажите, товарищ Решетов, вы меня не того, не задержите?

Строгим голосом:

— Я не обязан, гражданин, отвечать на такие вопросы.

— Да нет, вы меня не поняли! Я просто хочу знать, брать ли мне подушку, папиросы и прочее?

Немного повременил и менее грозным голосом ответил:

— Можете не брать.

В Москве шел слух, что в командующих рядах нет полного

согласия по части нашей высылки; называли тех, кто был за и кто был против. Плохо, что "за" был Троцкий.

Вероятно, позже, когда высылали его самого он был против этого!

Таким образом полоса паники уже прошла, а многие нас даже поздравляли: "счастливые, за границу поедете!" И все же к зданию ГПУ, где я сидел дважды, и в "Корабле смерти" и в "Особом отделе", я подходил не без ощущения пустоты в груди. Но раньше меня туда привозили, теперь шел сам. И оказалось, что добровольно попасть в страшное здание не так просто!

— Куда вы, товарищ, нельзя сюда!

— Меня вызвали.

— Предъявите пропуск!

— Нет у меня пропуска, по телефону вызван.

— Нельзя без пропуска, заворачивай.

— Да мне к следователю.

Все-таки пропустили в канцелярию. Но и здесь с полчаса отказывали.

— Вам зачем туда?

Скромно говорю:

— Мне бы нужно арестоваться.

— Без разрешения нельзя.

— Как же мне быть? Исхлопочите разрешение.

Долго куда-то телефоновали, наконец, выдали бумажку — и молодой солдатик пропустил.

Здание огромное, найти нужного человека трудно; раньше меня и здесь водили, больше по вечерам, темными коридорами. Наконец, добрался — и столкнулся в большой комнате с десятком товарищей по несчастью, уже освобожденных и вызванных для писанья каких-то протоколов. Все люди почтенные, на возрасте, неуместные в такой обстановке, не похожей на деловой кабинет.

Допрашивали нас в нескольких комнатах несколько следователей. За исключением умного Решетова, все эти следователи были малограмотны, самоуверенны и ни о ком из нас не имели никакого представления; какой-то там товарищ

Бердяев, да товарищ Кизеветтер, да Новиков Михаил... Вы чем занимались? — Был ректором университета. — Вы что же, писатель? А чего вы пишете? — А вы, говорите, философ? А чем же занимаетесь? — Самый допрос был образцом канцелярской простоты и логики.

Собственно допрашивать нас было не о чем — ни в чем мы не обвинялись. Я спросил Решетова: "собственно, в чем мы обвиняемся?" — Он ответил: "Оставьте, товарищ, это неважно! Не к чему задавать пустые вопросы". Другой следователь подвинул мне бумажку:

— Вот распишитесь тут, что вам объявлено о задержании.

— Нет! Этого я не подпишу. Мне сказал по телефону Решетов, что подушку можно не брать!

— Да вы только подпишите, а там увидите, я вам дам другой документ.

В другом документе просто сказано, что на основании моего допроса (которого еще не было), я присужден к высылке за границу на три года. И статья какая-то проставлена.

— Да какого допроса? Вы еще не допрашивали?

— Это, товарищ, потом, а то так мы не успеваем. Вам-то ведь все равно.

Затем третий "документ", в котором кратко сказано, что в случае согласия уехать на свой счет, освобождается с обязательством покинуть пределы РСФСР в пятидневный срок; в противном случае содержится в Особом отделе до высылки этапным порядком.

— Вы как хотите уехать? Добровольно и на свой счет?

— Я вообще никак не хочу.

Он изумился:

— Ну как же это не хотеть за границу! А я вам советую добровольно, а то сидеть придется долго.

Спорить не приходилось: согласился "добровольно".

Писали что-то еще. Все-таки в одной бумажке оказалось изложение нашей вины: "нежелание примириться и работать с советской властью". Может быть, передаю не точно — но смысл таков.

Думаю, что по отношению к большинству это обвинение

было неправильным и бессмысленным. Разве подчиниться не значит — примириться? Или разве кто-нибудь из этих людей науки и литературы думал тогда о заговоре против власти и о борьбе с ней? Думали о количестве селедок в академическом пайке! Непримирение внутреннее? Но тогда почему из ста миллионов высылали только пятьдесят человек? Нежелание работать? Работали все, кто как умел и что мог; но желать работать с властью — для меня лично было достаточно опыта Комитета помощи голодающим, призванного властью для срочной совместной работы; это случайно не кончилось расстрелом.

Одним словом, — ехать, так ехать, раз требуется немедленно сделать это добровольно. В общем с нами поступили относительно вежливо; могло быть хуже. Лев Троцкий в интервью с иностранным корреспондентом выразился так: "Мы этих людей выслали, потому что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно". Опять — без ручательства за точность фразы тогдашнего диктатора, позже высланного, хотя и были поводы его расстрелять.

Но легко сказать — ехать. А визы? А транспорт? А паспорт? А иностранная валюта?

Это тянулось больше месяца. Всесильное ГПУ оказалось бессильным помочь нашему "добровольному" выезду за пределы родины. Германия отказала в вынужденных визах — но обещала немедленно предоставить их по нашей личной просьбе. И вот нам, высылаемым, было предложено организоваться в деловую группу, с председателем, канцелярией, делегатами. Собирались, заседали, обсуждали, действовали. С предупредительностью (иначе — как вышлешь?) был предоставлен автомобиль нашему представителю, по его заявлению выдавали бумаги и документы, меняли в банке рубли на иностранную валюту, заготавливали красные паспорта для высылаемых и сопровождающих их родных. Среди нас были люди со старыми связями в деловом мире; только они могли добиться отдельного вагона в Петербург, причем ГПУ просило нас прихватить его наблюдателя, для которого не оказалось проездного билета; наблюдателя устроили в соседнем вагоне. В

Петербурге сняли отель, кое-как успели заарендовать все классные места на уходящем в Штеттин немецком пароходе. Все это было очень сложно, и советская машина по тем временам не была приспособлена к таким предприятиям. Боясь, что всю эту сложность заменят простой нашей "ликвидацией", мы торопились и ждали дня отъезда; а пока приходилось как-то жить, добывать съестные припасы, продавать свое имущество, чтобы было с чем приехать в Германию. Многие хлопотали, чтобы их оставили в РСФСР, но добились этого только единицы.

Я обязал себя описывать все это в "мягких тонах" — и исполняю. Но все же добавьте к этому, что люди разрушали свой быт, прощались со своими библиотеками, со всем, что долгие годы служило им для работы, без чего как-то и не мыслилось продолжение умственной деятельности, с кругом близких и единомышленников, с Россией. Для многих отъезд был настоящей трагедией, — никакая Европа их манить к себе не могла; вся их жизнь и работа были связаны с Россией связью единственной и нерушимой отдельно от цели существования. Все это в мягких тонах не выскажешь — и я пропускаю.

Но в менее "мягком тоне" я хочу вспомнить о последнем заседании правления Союза писателей за день-два до нашего отъезда. Значительная часть высланных состояла в Союзе; четверо были членами правления. Конечно, наша высылка вызвала большое волнение и общее сочувствие; и, конечно, она вызвала также и малодушие — страх каждого за себя. Уезжавшие хлопотали по своим делам, и на очередное заседание из них явился только я, так как должен был председательствовать. Были мелкие дела — мы их скоро решили. На повестку ближайшего заседания поставили вопрос о замещении выбывших членов правления, в частности двух товарищей председателя (Н.Бердяева и меня; председатель, Б.Зайцев, был раньше отпущен за границу). Закрывая заседание правления, я думал: сейчас кто-нибудь встанет и предложит поблагодарить меня и поручить мне передать последний привет от правления отъезжающим! Пять лет общей работы, почти в не-

изменявшемся составе, всегда дружной и всегда независимой! Демонстраций не нужно, Союз должно беречь, — но так, на одну секунду, маленькая растроганность все-таки ужас, но нужна и мне и, я думаю, всем! Страшного ничего нет — одна семья!

Затем мы встали, отодвинули стулья. Помню, что я стряхнул с рукава пепел папиросы. Потом кто-то протянул "н-да!" Затем один или двое вышли, а за ними медленно вышел и я, ничего не услышав вдогонку. В передней я поспешил первым надеть пальто. Впрочем, мы раньше прощались — у меня, у других, даже с застольными речами. Да и можно ли сомневаться в добрых чувствах старых друзей?

Я и не сомневаюсь. Я только вспоминаю об очень большой минуте жизни. Теперь я улыбаюсь, потому что в связи с этим несостоявшимся прощальным приветствием ставлю несостоявшуюся встречу нас эмигрантами, о которой расскажу дальше.

* * *

Вокзал; толпа провожающих — близких людей и бестрепетных знакомых. Чины ГПУ стараются быть незаметными. Высылка положительно почетная. Годом раньше, ссылая в Казанскую губернию, меня ночью, совсем больного, втискивали с конвоирами в насквозь промерзший вагон, забитый людскими тенями и вшами. Разница огромная! И правда — нашей судьбой интересуется Европа!

В Петербурге — гостиница "Интернационал", кажется, бывшая "Европейская", близ Казанского собора. На следующий день — парходная пристань, тщательнейший обыск, — если возможно перешарить в огромном багаже семидесяти человек (считая членов семей); мы не вправе взять с собой ни единой записки и вообще ничего, не помеченного в утвержденном инвентаре. Здесь пришли проводить два петербургских писателя, также намеченные к высылке, но потом сумевшие остаться в России — честь им и хвала за смелость. Море не спокойно, а у бедного Ю.И.Айхенвальда, ныне покойного, морская болезнь началась еще на извозчицкой пролетке. До

последней минуты ждем — не переменят ли власти решение, не увезут ли нас обратно? И, наконец, отплытие. До Кронштадта провожает агент — но мы его почти не видим. В нашем распоряжении весь первый класс и почти весь второй.

За шестнадцать лет перед этим, в 1906 году, я также отплыл в группе революционеров от берегов Финляндии. Отбытие парохода задержалось на шесть часов, и каждую минуту мы ждали, что нас задержат и высадят. Когда наконец за кормой зашумели волны, мы вышли на палубу и запели Марсельезу. — Здесь мы отплыли в молчании, потому что петь было нечего: у нас не было своего гимна, и мы не были идейно сплоченной группой; просто — советские граждане, отправлявшиеся путешествовать с паспортами, в которых на трех языках было помечено: "высылается за пределы РСФСР". Взамен паспортов с нас взяли подписку: "В случае бегства с пути или возвращения, подлежу высшей мере наказания". Нас высылали на три года (на больший срок "по закону" не полагалось); устно нам разъяснили: "т.е. навсегда".

Можно бы немало рассказать о нашей поездке, особенно о разнице настроений. Одни уезжали не то чтобы с удовольствием, а с ощущением наконец наступившего, хоть и вынужденного отдыха; другие увозили в душе отчаянье, предугадывая тяжкое будущее. Среди нас были люди старые, которые при всем оптимизме, не могли рассчитывать на возвращенье; некоторые из них уже оказались правыми в своем опасении, как Ю.И.Айхенвальд, как недавно умерший в Праге редактор "Русских ведомостей" Вл.А.Розенберг.

С грошами в карманах мы ехали устраивать свою новую жизнь в Европе. Но еще больше нас беспокоило предстоявшее первое свиданье с русскими эмигрантами, которые, конечно, торжественно встретят нас в Штеттине или Берлине, среди которых есть много близких по прежним связям, но теперь далеких по переживаниям и, конечно, чуждых по взглядам.

Об эмигрантах мы знали только то, что сообщалось газетами: что все они интервентисты, озлобленные, мечтающие о возврате старого строя, ненавидящие новую Россию, не понимающие свершившегося. "Не примирившись с советскою

властью", большинство из нас все же не только не были "контрреволюционерами", но и резко отрицали всякую "помощь Европы" и всякий возврат на ржавые рельсы. Я говорю "большинство", не производя подсчета, который сейчас уже совершенно невозможен; люди изменились! Но я напомним о том, как, подъезжая к Германии, мы обсуждали возможности встречи и готовили наш осторожный ответ эмигрантам. Было устроено несколько заседаний, был выработан план речи, которую, никого не обижая, мы отграничивали себя от чуждой нам эмигрантской психологии и излагали наше политическое кредо высланных, но все же граждан, членов живой, а не похороненной России, некоторым образом патриотов.

Я помню, кому было поручено произнести ответную речь — но не назову имени; сейчас мне это кажется смешным и почти ужасным! Десять лет — достаточный срок, чтобы человек вывернулся наизнанку! Пусть рассказ мой до конца будет "мирным".

И вот — Штеттин. Уже подъезжая, — видим, что нас встречают. Оказалось, что встречают любезные и заботливые немцы, представители не помню сейчас какой организации. Значит, русские эмигранты готовят встречу в Берлине.

И вот Берлин. Произносить речи у вагона, в сутолоке, менее удобно, но мы, конечно, готовы. Нас встречают и здесь — и опять немцы, заботливо приготовившие нам комнаты, предлагающие оказать всякую помощь, милые, распорядительные. Но только немцы, точно узнавшие, когда придет наш поезд, сколько нас, в чем мы будем иметь первую нужду.

Русских не было. Русская газета в Берлине не знала о нашем приезде. Заготовленная речь, тонко задуманная и порученная отличному оратору, пропала даром! Мы уверяли себя, что очень рады, — но, может быть, скрыли от себя некоторую обиду. Впрочем, хлопот было столько, что и радость и обида скоро позабылись. Так же было со мной после памятного заседания правления Союза писателей.

Ну, а потом началось то, что приходится называть "жизнью". Сначала оставались сплоченной группой "высланных граждан", затем рассеялись. Сначала "знали больше других",

теперь знаем так же мало. Сначала были "люди особой психологией", затем в большинстве разместились по обязательным эмигрантским делениям. Что-то общее все же, кажется, осталось, но не в реальности, а в воспоминаниях. Некоторые сохранили свое "гражданство", другие перешли в подданство Нансена. Никто из нашей группы не вернулся и не был возвращен в Россию. "Три года" протянулись пока в десятилетье.

Вот и все, что припомнилось в "мирных тонах" в дни юбилея.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

1

Газеты существуют для того, чтобы, утром, проснувшись, знал человек, кто из его спутников и близких уже не проснется в этот день. В регистраторе памяти выдвигается ящичек, и впереди имени ставится крестик и дата: сего числа перестал быть. Ящик вдвинут обратно — минута молчания. Затем — свисток, и собственный нашего величества поезд дребезжит дальше, — к неизвестной станции, но в направлении, хорошо ведомом.

Умер Андрей Белый — Борис Николаевич Бугаев... Слишком, слишком рано, не надо бы так пугать людей своего поколения! Но он горел, как никто другой, ярко и нерасчетливо: большие поэты не злоупотребляют возрастом. Его учитель и любимый поэт, Гете, был все-таки государственным советником и министром, что придает смысл долголетию и отчасти ему способствует. У Андрея Белого не было больших соблазнов длить земное существование в холоде и голоде московской окраины; он даже поторопился, год тому назад, сдать в пушкинский музей свой личный архив — письма, рукописи, рисунки. Предусмотрительность для него необычная, может быть, вызванная предчувствием, а то — сознанием, что архив уже полон, больше собирать и хранить нечего:

Куда мне теперь идти?
Куда свой потухший пламень —
Потухший пламень... — нести?

* * *

Будет поток воспоминаний об Андрее Белом; близость с ним и даже простое знакомство, даже случайная встреча ни для кого не могли пройти бесследно: обаятельный человек, необыкновенный ум, врожденная способность очаровывать. В любом окружении он был первым, — остальные бледнели. И не потому, что он подавлял других или старался выделиться, а именно потому, что сам он проявлял внимание и интерес к каждому, и никто не был для него маленьким и нелюбопытным, всякого хотел понять и духовно использовать, всякое слово слушал и взвешивал, жадный до людей и соборного общения. Среди людей, им завоеванных раз и навсегда, ценивших близость с ним, много единиц и еще больше нулей: в знакомствах и связях он не был разборчивым. Но и врагов у Андрея Белого всегда было много: иногда он срывался и был резким до непопозволительности, до внезапного скандала.

Ценны и полны содержания будут воспоминания тех, для кого Андрей Белый был соратником в литературных боях, когда перестраивалась поэзия и литература на символистский лад, рождались и умирали журналы и кружки, ахали и негодовали старики, — радовалось молодое поколение. Не меньше расскажут о нем и те, для кого он был антропософским пророком и, — как он сам о себе сказал, — "белым Христианом Морген Штерном" ("От Ницше — ты, от Соловьева — я: мы в Штейнере перекрестились оба"...). Мне обо всем этом рассказать нечего, нас связывала лишь простая, "безыдейная" приязнь, при встречах крепившаяся в дружбу, в разлуке падавшая до степени добрых воспоминаний. Но об Андрее Белом каждая памятная запись должна быть нужной: его значение не переоценишь — он был личностью высокого дарования и посвященного творчества.

Печатью исключительности он был отмечен даже внешне: и юношей, и в преклонных годах. Я его помню в университете, тихим и застенчивым, в хорошем форменном сюртучке; внимание всех останавливали его глаза, очень светлые и в туманном сиянии, уже и тогда — нездешние, — глаза поэта. Я не был с ним тогда знаком и не знал его фамилии, — но спус-

тя пет пятнадцать, когда с ним познакомился, сразу узнал в нем студента, которого встречал в коридорах и аудиториях и которого нельзя было не заметить даже в толпе других. Образ "позднего Белого" помнят все, хотя бы по портретам: ушедший к затылку лоб, неподражаемая, чрезмерная улыбка нервного бритого лица, обезьянья гибкость и длиннорукость, всегдашняя нелепость одежды, мягкий голос с отличным московским выговором, суетливая доброта и вежливость, внезапность переходов от серьезности к смешку, — но не опишешь словами его оригинальной фигуры. То ли он был красив, то ли безобразен, всегда необычаен и отличен от всех, всегда обаятелен в дружеской беседе и удивителен в любимом проповедничестве.

Он прекрасно говорил — и любил говорить. Появлялся перед аудиторией в длинном старомодном сюртуке, с нелепым черным атласным бантом под отложным воротником, смотрел на всех и никуда, в речи своей делал долгие паузы — искал слова — и находил лучшие, то был приторно популярен, то улетал в такие выси и неопределенности, что едва можно было за ним туда следовать, и время от времени поражал слушателей совсем особенной красотой образа или оригинальностью мысли, — и сам радостно улыбался, как своему новому и неожиданному открытию. Он был совершенно неспособен сказать что-нибудь банальное, только ради слова и впечатления, — черта редкая в людях, привыкших часто выступать. Но очень часто путался в обилии мыслей, попутно в нем рождавшихся, в музыке словесных сочетаний, его поражающих; может быть, и готовил свои речи, — но, говоря их, всегда творил заново, сам себя слушая и спрашивая и сам себе отвечая. Были ораторы лучше Белого, — но в своем роде он был единственным.

Его ранних, боевых эстрадных выступлений я не знаю, только слышал о них; сам жил тогда за границей. Познакомился с Белым лишь когда его литературный талант был признан всеми, и сторонниками и прежними врагами. Настолько признан, что даже упрямые и очень осторожные, в этом смысле консервативнейшие "Русские ведомости" реши-

лись впервые его напечатать. Помню, что его свел с газетой Абрам Эфрос, бывший тогда художественным обозревателем "Русских ведомостей" и позволявший себе в профессорской газете употреблять совсем ей чуждые "модернистские" выражения: "красочное задание", "юоновски вписанный образ". Газете хотелось быть современной (конечно, — в строгих рамках!), — но что скажет многолетний подписчик, когда в числе сотрудников его газеты, печатавшей годами Толстого, Щедрина, Короленко, Тургенева, Боборыкина, окажется автор, прославившийся строками:

**Вот ко мне на утес
Притащился горбун седовласый.
Мне в подарок принес
Из подземных теплиц ананасы.**

**Голосил
Низким басом:
В небеса запустил
Ананасом.**

Сейчас все это читается и слушается спокойно — привыкли, но в те времена можно ли было в почтеннейшем литературном "университете" слышать строки:

**Дьякон —
Крякнул;
Кадиллом —
Звякнул:
"Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего!"**

Долго думали и наконец решили попробовать отвести несколько фельетонов под начало "Котика Летаева", благо там идет рассказ о профессорской Москве, хоть и написано все странными, неподобающими словами и словечками и, благо, автор — сын почтенного профессора-математика Николая Васильевича Бугаева, и сам — воспитанник двух факультетов.

Опыт был сделан. Многолетние подписчики читали хмуро и удивленно, зря печатать не станут. Целый переворот в умах, насильственная эволюция! И Белый стал кандидатом в академики...

Это было, думается, в 1916 году, в дни военные и предреволюционные, когда стало возможным многое, о чем раньше

и не снилось. Белый только что вернулся из-за границы и из антропософа превращался в "скифа" (с Ивановым-Разумником, Блоком и другими).

В том же году первым изданием вышел его большой роман "Петербург". Теперь он был уже не озорным поэтом-символистом, а большим и признанным писателем.

* * *

Дни революции путают хронику мелких воспоминаний. Думаю, что наш московский Клуб писателей, замкнутый кружок, без "жен и гостей", чаще и усерднее всего собирался в 1917 году. И особенно памятно одно собрание на квартире у стариков Крандиевских, когда происходила долгая и невразумительная для профанов словесная дуэль между Андреем Белым и Вячеславом Ивановым. Вероятно, это было замечательно, но, должен признаться, что в моей памяти ничего не осталось, кроме картины превосходного боя петухов: двух замечательных людей с длинными распущенными волосами, забывших об аудитории и перекликавшихся уже не связными словами, а какими-то символами, только им до конца понятными. Я не уверен, что они друг друга слушали, — но понимали друг друга, наверное, и это не могло не казаться удивительным.

Что тогда говорил Белый? Как говорил? — Я думаю, что могу дать об этом понятие, приведя строчки из лежащей передо мной его рукописи, никакого отношения к тому вечеру не имевшей:

"Не события мира летят мимо нас, мы летаем в событиях мира; Событие — Со-событие, т.е. связность бытийств; бытие вне сознания — мертвая неподвижность природы; Со-сознание — действие связи: действительность, действенность, подвижность, обегание "точек зрения", — движение по кругу мирозерцаний живого прозревшего "я"; первый сдвиг неподвижности с точек лежания (лога, лжи) нам являет картину падения мира на нас: это — кризис сознания: Со-о-со-знание — градация состояний, сознания. Само-сознание — кризис сознания: кризисом мира глядится на нас". — "Говорят, что не-

счастья посылаются Богом; тут промысел Божий. Но промысел — про-мысел, т.е. введение мысли в предмет; провести мысль сквозь руку — промыслить; умение произвольно менять ритм движений, повертываться, перепрыгивать через ямы, есть промысел мускулов; а для тех, кто движения свои не сознал, их прыжок через яму, есть чудо подобное промыслу Божию; этот прыжок, вероятно, они изживают, как если бы Божья рука, взявши тело, таинственно перенесла нас по воздуху... Кризис культуры, падение мира на нас, — наша мысль о нас, научающая нас по новому двигаться: двинемся, сдвинемся!"

Когда это читаешь, — видишь Белого, его жесты, его остановки, поиски слов, подчеркивания, двойные подчеркивания — и широкую светлую улыбку: нашел! И снова — двойное, тройное углубление, потеря линии и воздуха, всплеск — и опять выплыл на поверхность с новой добычей и последним выводом: "двинемся, сдвинемся!" И не знаешь, что важно и что пустяк, придаток: мысль, музыка слов или ритм, — мыслью, музыкой, ритмом он был пронизан насквозь и без них не существовал.

Но вот — простота занятнейшего рассказа. В дни московской голодухи Белый бывал у меня в Чернышевском; если пили чай, то, вероятно, — морковный и, наверное, — с сахарином. А затем он рассказывал о поездке в Италию или о своем участии в постройке антропософского храма — Гетеанума. Этот храм был его чистой любовью, и он часами рассказывал о пятигранных колоннах с шестигранным цоколем, о необычайной градации асимметрий, об углостых, ни на что не похожих чашах, цветах и змеях, о движении неподвижных частей, об оттенках цвета разных пород деревьев — бело-зеленоватого твердейшего бука, медово-солнечного желтоватого ясеня, бронзового дуба, перламутрово-нежной березы, о деревянных кристаллах, сливавшихся в пентаграмму, об архитравах, изображавших состояние космоса. И о том, как работали там поляки, британцы, французы, швейцарцы, голландцы, германцы, русские, в бархатных перемазанных куртках, в заплатанных панталонах и подоткнутых пропыленных юб-

чонках, — забираясь под потолок и купол, свисая оттуда гроздьями, высекая стамеской и пятифунтовым молотком куски, стружки, пыль дерева.

— Бывало, сидим мы на Юпитере и работаем над его архитравом, надо там что-то подчистить, выпрямить линию плоскости; а по шатким мосткам подымается к нам фигура в пенсне: доктор Штейнер. Оглянет летающим взором, возьмет уголь, прочертить две линии: "Вот тут сантиметра два снять!"

Белый верил, что Гетеанум — новый храм Любви, совершенного мира и братства народов. Он очень страдал, когда этот храм сгорел.

Рассказывая, Белый любил садиться на пол, на ковер, жестикулировал, принимал какие-то индусские позы, — и шли часы, и невозможно было наслушаться: каждое свое слово он изображал, каждый образ окрылял словесными сочетаниями, каждую мысль пояснял мимикой подвижного и вдохновенного лица. Лучшего рассказчика я никогда в своей жизни не встречал.

Так проведя полдня, он оставался ночевать, — и ночи не было, потому что раз увлекшись, он уже не мог остановиться. Мы говорили до рассвета — и не было утомления, а главное — забывалось все, что было за стенами и в стенах: радость и ужас революции, тревога, голод, неопределенность не только будущего, но и завтрашнего дня. Этот человек имел власть вычеркивать действительность и заменять ее мечтой и поэзией — и нельзя было ему не подчиниться.

Иным я знал Белого позже, за границей, в Берлине, — Белого, пытавшегося изменить колоколам Парсифаля для музыки фокстрота. Хотелось бы — как умею — рассказать и об этих, не лучших днях.

2

В некрологе Андрея Белого, напечатанном его учениками и друзьями в "Известиях", говорится, что за годы жизни в Берлине (1921-23) Белый провел резкую грань между русской литературой, советской и зарубежной. Не понимаю, зачем это написано и что это должно означать. Во всяком слу-

чае, за указанные три года в зарубежных издательствах вышло десять книг Белого, в том числе заново переработанный им роман "Петербург". Под собственным именем Белый сотрудничал в газете "Дни", где среди других статей им напечатаны в литературном отделе "Гетеанум" и "Мысли о Петеньке". Это не значит, конечно, что он думал перейти на эмигрантское положение, — такой мысли у него никогда не было. Это только значит, что он никакой грани не полагал между "двумя" литературами, а писал там, где хотел и где было ближе и удобнее работать.

И вообще нужно сказать, что деление русских художников слова на два лагеря возникло гораздо позже. В 1921-23 годах приезжавшие из России писатели не чуждались своих зарубежных товарищей по перу и жили в Берлине довольно дружной семьей. Был общий клуб, собрания которого были публичны и в котором все равно выступали, в том числе и Белый; тем и ценен был этот клуб, что в нем никакой "политики" не проводилось и не существовало никакого деления на "советских" и несветских; и самое слово такое к писателям не прилагалось. Одни думали вернуться в Россию, другие не собирались или не могли, но общению это нисколько не мешало. Несколько особняком стояла только группа сотрудников сменовеховской газеты "Накануне", — но это были уже не писатели, а служащие люди, к которым соответственно и относились с весьма малым уважением, как к утратившим независимый писательский облик, отщепенцам и несвободным.

Первое время в Берлине Андрей Белый работал, по-видимому, много. Помимо изданий новых и переиздания старых книг, он занят был разработкой плана своей обширнейшей "Эпопеи", так целиком и не осуществленной, рассчитанной на много томов; он говорил о 150 печатных листах, якобы уже сложившихся в его писательском представлении, малая часть которых написана и обработана. Он боялся, что в условиях жизни российской ему такой огромной задачи не выполнить; и в то же время его тянуло в Россию, оторванность от которой он переживал очень тяжело.

Именно здесь, в Берлине, он пытался определить ясно этапы своего творчества или, как он выражался, развитие "поэмы души", пути "искания правды". В двадцать втором году он издал большой сборник стихов, разделенный на отделы, соответствующие этим творчески жизненным этапам. Не место здесь заниматься их разбором — предоставим это историкам литературы; отмечу только, что маленькое предисловие к этапу берлинскому, в сборнике заключительному, может дать некоторое представление о том, как чувствовал себя Белый за границей и отчего он в конце концов бежал обратно в "роковую страну, ледяную, проклятую железной судьбой":

"Стихотворения этого периода заключают книгу: они написаны недавно, и я ничего не сумею сказать о них: знаю лишь, что они — не "Звезда" и что они после "Звезды". Меня влечет теперь к иным темам: музыка "пути посвящения" сменилась для меня музыкой фокстрота, бостона и джимми; хороший джазбанд предпочитаю я колоколам Парсифаля; я хотел бы в будущем писать соответствующие фокстроту стихи".

Его последнее стихотворение называется "Маленький балаган на маленькой планете "Земля"; по авторской реплике — оно "выкрикивается в форточку". И действительно оно — мучительные выкрики, сумбурные и несвязные, с лейтмотивом: "Все — иное: не то..."; оно кончается повторным "Бум, Бум", после чего "форточка захлопывается, комната наполняется звуками веселого джимми"...

Когда очень большой человек опускается и делает глупости, окружающим кажется, что он с ними сравнился; они могут похлопывать его по плечу, жалеть, поощрять, покровительствовать. За Андреем белым, провозгласившим культ фокстрота и джимми, бродила по дансингам толпа друзей. "Все танцует?" — "Танцует! И как!" — Рассказывались анекдоты, высказывали предположения, что "Борис Николаевич окончательно рехнулся", и все это с тем оживлением, с которым в среде богемной говорят о самоубийствах.

Но в любом падении Белый был выше рядовых людей. То, что он "выкрикивал в форточку", оставалось в его душе,

и он не просто танцевал — он и в недостойном кошмаре продолжал искать религию.

Я видел его в дансингах, в обществе преимущественно немецком, буржуазном и бесцветном. Русские над ним подсмеивались, немцы и немки относились к нему искренне — верили в веселость этого русского чудака. Он выделялся "па" прилежно, заботливо ведя и кружа своих толстоногих дам, занимая их разговором, танцуя со всеми по очереди, чтобы ни одной не обидеть. Ни фокусов, ни экстравагантностей, ни болезненного ломанья, — усердная работа кавалера, души общества, сияющее приветливостью лицо, пот градом. По тому, как к нему относились немцы, можно было думать, что каким-то чутьем они догадывались, что этот милый и вежливый забавник — все-таки не простой, а какой-то особенный человек, гер доктор исключительной породы. Танцевал он плохо, немного смешно, — и все-таки был первым и центром уважительного внимания, — как был им всегда в любом обществе: ученом, философском, литературном, во всепьянейшей компании. Второго плана для Белого не существовало, в статисты он не годился.

Хуже танцев было то, что белый очень много пил, что было для него убийственным. Никто его не удерживал, скорее — его поощряли. Пил всегда в компании — русских, немцев, старых приятелей, сегодняшних знакомых, — для него каждый человек был любопытен и с каждым было о чем говорить. Он всегда кем-нибудь восхищался, — приписывая ему собственные черты и духовные интересы. И думал или хотел себя убедить, что в пьяном тумане и звуках джазбанда постигнет "буревую стихию в столбах громового огня", узрит "потоки космических дней" и "спирали планет". Утром, отрезвев, сомневался и грустил, ругал себя за слабость, мечтал вырваться и уехать — или запереться в четырех стенах и неотрывно работать над своей "Эпопеей".

Мы жили вместе в маленьком пансионе — в смежных комнатах. Узаконился обычай, что каждую ночь, часа в два, Белый, возвращаясь из кабачков и дансингов, приходил ко мне и садился в кресло у моей постели — поговорить. Если он был

сильно пьян и бормотал что-нибудь несвязное и маловразумительное, я продолжал читать лежа; слушать его было тяжело, а выговориться ему всегда было нужно, без этого он не засыпал. Понемногу он переставал бормотать, успокаивался и уходил, неизменно извиняясь, что вот пришел, пьяный, нарушать чужой покой. Но иногда он был только в легком возбуждении — и тогда говорить с ним было приятно и интересно, потому что связная речь Белого редко могла быть незначительной: светлый и блестящий ум никогда его не покидал.

Всем была известна придуманная им влюбленность во "фрейлейн Марихен", дочь хозяина кабачка, где он проводил много вечеров и наливался пивом. Вероятно, эта фрейлейн Марихен думала и рассчитывала, что гер-доктор, не сводящий с нее глаз, в конце концов, на ней женится. Пока он был полезен как постоянный и нерасчетливый клиент, охотно плативший и за других, всегда собиравший вокруг себя компанию постоянных и случайных посетителей.

К фрейлейн Марихен он относился с величайшей почтительностью и, конечно, никогда себе не позволял, по добром обычаю немцев, не только сажать ее на колени, но и заигрывать с ней походя. Я видал эту немецкую девицу, ничем не отличную от сотен других, смазливую и сообразительную; в присутствии Белого она держала себя со всеми очень строго; возможно, что он ей нравился.

И вот, в ночных наших беседах, — причем говорил почти исключительно он, а мне оставалось только слушать, — он втолковывал мне, что фрейлейн Марихен — явление исключительное и неповторимое, истинное чудо, что он относится к ней чисто платонически и не позволяет себе ни единой вольной мысли, что фрейлейн Марихен есть, в сущности, воплощение высокой творческой идеи вечно создающего духа, который избрал ее своим сосудом, что этого не понимают и что ему самому приходится бороться с собой и побеждать в себе земное чувство, слишком оскорбительное для фрейлейн Марихен.

Иногда я вставлял слово, спрашивая его, какой приблизительно доход он доставляет кабачку, и правда ли, что фрей-

лейн Марихен просила его купить пальто для брата или какого-то родственника? Пальто он не отрицал, но бескорыстие фрейлейн Марихен утверждал без колебаний: его подарки ей ничтожны, чаще всего цветы, иногда духи, которые она, девушка бедная и с тонким вкусом, искренно, по-детски, любит. Дарить ей что-нибудь ценное значило бы — оскорблять ее! Ее отец настолько бессребреник, что постоянно скидывает с его счета мелочь, округляя цифру. Много раз оказывал ему кредит и даже обижался, когда он на другой же день расплачивался за потребленное пиво, между прочим, — отличного качества.

— Надеюсь, все-таки, что вы на ней не женитесь?

— Я — на фрейлейн Марихен! Я, потрепанный, ничтожный, несвежий человек? Если бы даже она захотела этого, — а это немислимо! — я никогда не посмел бы мечтать! Я бы убежал, исчез, растворился!

Фрейлейн Марихен, забавлявшая русских берлинцев, была такой же больной выдумкой Белого, как и фокстрот, джимми, пиво, — его попыткой опрокинуть в себе идею "путей посвящения", — своего рода богоборчеством. Той же породы было его приятельство с немцами последнего разбора, какими-то курортными спекулянтами, крашеными женщинами, юными дурачками, в которых он открывал невероятные таланты. Внешне погружаясь с головой в последнюю пошлость, — он немедленно всплывал на поверхность внутренне незапятнанным и ничего не мог с собой поделаться. Он был слишком большим человеком, чтобы смешиваться с толпой людей маленьких и с ней по-настоящему слиться и сродниться. Мало того, — он так все собой освещал, что пошлость вокруг него таяла, а люди словно бы становились лучше и выше. Звучащие в нем колокола Парсифаля неизменно заглушали джазбанд! Не нужно забывать, что Андрей Белый был не просто поэтом, способным стать ничтожным среди детей ничтожных мира, — он обладал еще необыкновенным умственным багажом. Никакой камень, умышленно прихваченный, не помогал ему погрузиться на дно и утонуть.

Он мог бы, конечно, спиться и расслабить мозг и душу. Так

бы, вероятно, и случилось, если бы он остался за границей. Здоровое чувство подсказало ему, что пора бежать — и он почти внезапно уехал в Россию, отдав Берлину последнюю дань: его погрузили в поезд совершенно пьяным.

Как и чем он жил в России в последние годы — мы знаем только по отрывочным рассказам приезжавших сюда писателей. Нет смысла передавать слухи, это уже не область "воспоминаний". Его литературные работы этого периода немногочисленны и мало прибавили к прежнему его литературному наследству. Нельзя не пожалеть, что его роман "Москва" остался неоконченным. Несомненно его возврат к антропософии, — за это он расплатился отчуждением и, по-видимому, опалой.

Пишут, что Белый умер от артериосклероза; спросите медиков — они пожмут плечами: это не определение причины смерти. Не проще ли сказать: он физически истратился и устал жить. Истратился ли он и духовно — мы не знаем.

Его творчество изучают и будут изучать. Он — кусок истории русской литературы и сам — история. Умер один из замечательнейших людей нашего поколения.

**Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.
Не смейтесь над мертвым поэтом
Снесите ему венки.**

.....
**Пожалейте, придите;
Навстречу венкам метнусь.
О, любите меня, полюбите —
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь —
Вернусь...**

ТРАГЕДИЯ ПИСАТЕЛЯ

Три года с лишним тому назад в Москве покончил с собой Юлий Михайлович Соболев, которого знали под его писательским именем — Андрей Соболев. Он никогда не был модным или очень известным писателем, хотя в кругах литературных

был популярен. Больше всего читался его роман "Пыль", много оставил он рассказов. Его стиль неровен, невыдержан, иногда страстен гораздо больше, чем подобает художественному письму. Соболя скоро забудут, а может быть, уже забыли, хотя он был лучше и оригинальнее многих, и жизнь его была сложным и путаным романом, — только в России встречаются такие биографии. Сам он был невысокого роста, большеголовый, смуглый, кудрявый, с очень крупными чертами лица, очень красивыми карими глазами, нервный, добрый, легкомысленный, смелый, любящий, по еврейски нетерпимый, по русски непутевый, из тех с двух концов горящих людей, которых люди солидные не без основания называют неврастениками.

В ранней молодости Соболев был близок к террористам; за это он поплатился каторгой, откуда убежал в Италию. Там, на Восточной Ривьере я встретил его впервые. Совсем недавно, перебирая бумаги своего римского архива, я нашел рукопись неискusstного рассказа, подписанную Андреем Неждановым. Не без труда я вспомнил, что получил ее от Соболя с просьбой пристроить в "Русских ведомостях" и что мне это не удалось — редакция рукопись вернула. Позже Андрей Нежданов что-то где-то напечатал, а затем появился в литературе Андрей Соболев. К этому времени он успел вернуться в Россию, конечно, нелегально, но под своей фамилией, переименовав только имя. Это было очень смело — но Соболев вообще был очень смелым человеком. Позже, в Москве, мы встречались часто; он был непременным членом всех литературных объединений.

Когда все газеты и журналы были закрыты и началось бегство, Соболев оказался в Одессе. Из этого периода его жизни мне известно только, что он, с другими литераторами, изготавливал мешочки с нафталином для ношения на груди против сыпного тифа; мешочки имели успех, и этой работой многие жили. Еще знаю, что Соболев, пользуясь своей прежней революционной близостью к кому-то из высоких большевистских начальников в Одессе, помогал многим арестованным и спас нескольких от "высшей меры наказания". Сначала этот

начальник относился к Соболю с чрезвычайной внимательностью, затем Соболю ему надоело, а в конце концов сам Соболю попал за решетку, и так прочно, что спасти его было почти невозможно. В Москве, где Соболя очень любили, были пущены в ход все средства и все влияния; о нем хлопотал Союз писателей и близкие друзья, в судьбе его удалось заинтересовать лиц, в Москве всемогущих (Каменева, Менжинского), но в то время полицейская власть еще не была централизована и одесская Чека освободить Соболя не желала. Наконец, удалось применить хитрость: Соболю был вытребован в Москву под конвоем, якобы по московскому о нем делу, и здесь его наконец освободили. Это было для нас большой удачей и радостью.

С этим периодом борьбы за Соболя соединено у меня не очень приятное, но любопытное воспоминание. Я был тогда в составе правления Всероссийского писательского союза. Мне передали адрес какого-то влиятельного лица, подпись которого была необходима для истребования Соболя в Москву или в качестве третьего поручителя из коммунистов — точно не помню (первых поручителей я выше назвал). Влиятельное лицо это носило титул "рабоче-крестьянского инспектора", но имело, конечно, ближайшее отношение к Чека.

Оно пожелало повидаться со мной лично, и при том не в учреждении, а у себя на дому, поздно вечером и как бы конспиративно. Было очень неприятно, но я, конечно, явился. В полупустых реквизированных комнатах меня встретил приземистый человек в офицерском френче поверх розовой рубашки, и я увидел, что посещение мое доставило ему особое удовольствие. За неимением стульев он усадил меня на свою неприбранную кровать, подвинул к ней стол, поставил закуски и бутылку водки, сел рядом и начал разговор о литературе. Зная, что от него зависит судьба Соболя, я не смел отказаться ни от разговора, ни от угощения. Собеседник мой был на вид простоват, говорил на "о", не задавал мне никаких "наводящих" вопросов и явно сиял невинной радостью беседовать с писателем о литературе, притом "запросто", у себя дома. Прислуживала нам его жена, совсем простая женщина,

которая в разговор не вмешивалась. Он не отпускал меня часа два, и только поздно ночью я ушел от него, унося в кармане подписанное им поручительство. И действительно, эта бумажка Соболя спасла.

Затем были недолгие и трагические годы наших "хождений по мукам"; прежняя предупредительность власти к писателям исчезла. Как все мы, Соболю нуждался, голодал, одновременно успевая переживать личные и семейные драмы. Когда за решеткой оказался я, — Соболю, забыв о личном риске, помогал мне так, как помогают только родные: наводил нужные справки, хлопотал, носил передачи. Затем была ссылка в Казань, высылка за границу, — и пути наши разошлись. Он остался в Москве, и мы не переписывались. Прочтя однажды его статью в коммунистической "Правде", — статью искреннюю и пылкую, за которую его за границей немедленно предали анафеме и смешали с грязью, — я на этих страницах напечатал открытое письмо Соболю, в котором старался защитить его честь от грязной клеветы и одновременно укорял его за выступление в казенной большевистской печати.

В начале 1925 года появилось в газетах сообщение о том, что Андрей Соболю покушался на самоубийство, но был спасен. Ранней весной он приехал за границу и некоторое время прожил в Сорренто. В конце мая он вернулся в Москву, а 7 июня 1926 года покончил с собой.

Передо мной большая пачка писем Соболя. Он писал мне из Риги, едва переехав границу, писал из Берлина, из Сорренто и из Москвы — по возвращении.

В одном из его последних писем есть такие, обязывающие меня строки:

"...если добежит, донесется до Вас невеселая весточка обо мне и начнут про меня говорить и писать глупости, небылицы, и будут мою боль, мою тяжесть, переводить на дензнаки, — Вы, старый друг, вновь найденный мной, заступитесь за мою бедную память, прикрикните на ослов и оборвите подлецов. Конечно, милый, "по ту сторону добра и зла" мне уже тогда все будет безразлично. Но не безразлично будет тем, кому я дорог и кого я люблю. И ради этих людей я хочу правды о се-

бе, даже, когда на мне будет уже трава расти... Если такой "фокус-покус" будет и засну я, а заснуть, милый, милый М.А., я хочу до чертиков, — заснуть до пришествия, до труб архангелов, — Вы не позволяйте клеветать на меня, ибо перед сном писать я никому не буду, объяснять ничего не буду, ибо перед сном надо только чистенько умыться, переодеться во все чистое и сказать миру-солнцу, моей Собачьей Площадке, Москве моей, близким моим, — про себя, только про себя: прощайте и не сердитесь".

Я не посвятил Соболю некролога — не мог; да и не нужно было. Теперь, выждав три с лишним года, я хочу опубликовать, что возможно, из строк нашей с ним общей переписки. Пускай Соболев теперь уже забыт, но живы в России другие писатели, во многом и основном — одинаковой с ним судьбы и одинаковых переживаний. Именно сейчас, в связи с наметившейся "чистой" их рядов, загробный голос Соболя может несколько помочь понять их далекую нам психологию. И тогда мы не повторим по их адресу того, что говорилось и писалось о Соболе и что сейчас также основательно забыто, — мне же придется напомнить.

* * *

Когда Соболев после покушения на самоубийство, приехал за границу, в газете "За свободу" Арцыбашев приветствовал его статьей, из которой можно было почерпнуть сведение, что Соболев — бывший мелкий карманный воришка и что в качестве такового, пройдя все тюрьмы и этапы, он взобрался "на вершину литературной славы" только при большевиках; а на самоубийство он покушался по той причине, что большевики его надули: купили, сперва деньги давали, а потом плюнули и давать перестали. Несколько раньше в берлинской газете писалось, что "перемены в воззрениях Соболя надо искать в папках ГПУ" и что Соболев "бутербродник".

Когда Соболев покончил с собой, в "Днях", вслед за телеграммой из Москвы, было напечатано:

"Такова судьба заблудившихся... Сначала борьба упорная, борьба идейная против насильников, поправших все и прежде

всего свободное слово... Затем колебания, слабость под натиском большевистского миража и сменевеховство. За сменевеховством у честных наступает раскаяние и уход из жизни... Соболев, тот самый Соболев, что громил пером царскую каторгу и что после одесского периода борьбы воскурил фимиам Чека... Фимиам еле заметный, но все же фимиам... Первая попытка покончить с собой не удалась, и Луначарский, иже с ними все подлые, кричали: он наш, он наш... Они узнали его слабым... Он был отпущен ими в Италию, там пытался говорить свободно, но вернулся... А совесть мучила... Понадобилась вторая Голгофа, и он пошел и ушел от большевиков, от всего мира..."

Это — далеко не все то дрянное, что писалось о Соболе. Человек с известным именем — покончил с собой: великолепный случай использовать печальный факт в политических целях, попутно и одновременно назвав пострадавшего и Христом и чекистом. "Революционная Россия" тогда же писала, что поводом к покушению Соболя на самоубийство была свирепая московская цензура. "Какой, ну, мягко скажем, маленький подход", — писал мне по этому поводу Соболев.

Я не хочу выражаться резче Соболя: действительно, какой маленький подход к человеческой драме! Какое пренебрежение к человеческой личности, за которой не признается права на собственную жизнь, независимую от "свирепостей цензуры" или политических сомнений. Какая легкость и беззаботность суждений и высказываний о человеке, который лишен возможности ответа на тех же страницах, потому ли, что слишком велик риск или потому, что человек уже мертв. Какое лаун-теннисное изящество швырянья словами "сменевеховство", "фимиам Чека", "бутербродник".

Я не унижу памяти Соболя защитой против таких нелепых и гадких обвинений, и не в том цель моей о нем статьи.

Андрей Соболев погиб, запутавшись в сомнениях и противоречиях всей многообразной жизни, — но не в противоречиях чести и совести. Он и жил и умер чистым и честным, каким знали его все, знавшие близко. В сумме этих жизненных сомнений и противоречий большая доля приходилась на сомнения

творческие, писательские и на противоречия жизни личной, семейной. После первого покушения на свою жизнь он был уже, в сущности, мертв, он был неизлечимо болен и на пути в Россию страшно страдал физически. В результате отравления, у него образовалась язва желудка, а врачи в Венеции подозревали и туберкулезный процесс. О своих физических страданиях он писал мне в апреле из Берлина и в мае из Москвы.

О своих нравственных страданиях писал, как всегда, — путанно и неясно, в каждом письме. Свою поездку за границу он считал большой ошибкой. "Знаю, — писал он, — вернусь в Россию, и мне будет там очень тяжело, тяжелее еще, чем до приезда сюда. Ибо не надо было мне уезжать. Ибо уже в Европе я понял, что еще больше я забил душу свою и голову свою глупую тяжкими противоречиями и невеселыми выводами. И вот — вернусь и будет мне невероятно трудно, потому что серединки проклятой я не люблю, лгать самому себе не могу, не хочу, да еще потому, что буду я вдвойне усталым. Ибо не забудьте: я не только русский, я еще и еврей, а мы, евреи, не боимся, хотя бы наедине с собой, все и вся разложить на первоначальные элементы и тотчас же сделать соответствующий вывод".

"Запутался в противоречиях" — не значит, что он не знал, с кем ему быть, со старой или с новой Россией, за революцию или против нее, за "советы" или за "учредительное собрание". Этих вопросов не было, как нет их у большинства российских писателей. "Мы, бедные Соболи, — пишет он мне, — приняли страшную, жуткую, дикую, но свою, свою, новую Россию. И — не усмехайтесь иронически — приняли на свои плечи, конечно, — опять каждый по своему, огромную тяжесть и огромную боль, как каждый по-своему, но в общем одну, принял Россию: один с меньшим надрывом, другой с большим, один, как искупление, другой, быть может, как наказание по заслугам, третий, как новую весть, четвертый, как любовь к женщине: и мука и радость одновременно, но все приняли честно и прямо, не потому только, что от этого признания пахнет "бутербродами". Что же касается меня, — да, я принимаю революцию со всеми ее последствиями и говорю от-

крыто: да, я принимаю на себя и ответственность за нее, всю ответственность... Но неужели Вы думаете, что, приняв на себя большую тяжесть, мы в то же время ослепли и оглохли?" — "Да, — пишет он дальше, — я измучился, измотался, все что угодно, но не растерялся. Растерянность есть одно из проявлений трусости, а трусом я никогда не был. Мы не растерялись. Мы надрываемся, быть может, даже надорвались уже, но это только потому, что не хотим быть бесчестными и каждое маленькое право на честность покупаем огромной болью". — "Вы опять скажете: бедный Соболев, вот в этом-то и вся ваша трагедия. — А разве я когда-нибудь думал, говорил или писал, что нам, не прихвостням, вроде Родова, или "умникам", вроде Когана, или таким, в сущности, жеманфишистам, как Алексей Толстой, легко жить, легко работать и легко нападать на других?" — "Конечно, есть трагедия и есть раздвоение. А разве вы не знаете, что в России всегда нелегко давалось быть честным? И разве вы не слышали про такую особь человеческой породы, как русский интеллигент, и вам разве не ведомо, как эта особь тяжело и мучительно по сей день бьется в противоречиях? И за эти противоречия расплачивается сторицей? А разве вы, лучшие из эмигрантов, уж так до конца знаете, как надо жить и как надо говорить, и "аристократизм молчания" ведом вам и присущ вам? И вы не спотыкаетесь? И среди вас нет собственных Родовых и собственных Демьянов Бедных?" — "В моем приятии советской России вы можете усмотреть трагедию "бедных Соболев", — что ж, если угодно, то в этой трагедии таится мое нравственное право жить и работать только в России, — но над этими трагедиями многих "Соболев" у вас за границей издеваются, и в той же газете издевка идет рядом с пониманием". — "Вы скажете: а разве у вас в России не идут бок-о-бок мерзости с правдой? — Да, но зато мы из-за мерзостей от России не отшатываемся и за мерзостями все же видим, хотим видеть новую Россию, а по ту сторону кордона каждую маленькую мерзость сегодняшнего российского обихода отождествляют со всей страной".

Не думаю, чтобы я должен был комментировать несколько

сумбурные строки писем Соболя; они говорят сами за себя, а толковать их все равно будет каждый по своему. Поэтому я предпочитаю привести здесь еще несколько выдержек, характеризующих "раздвоение" Соболя.

Из Сорренто он писал мне о своих беседах с Максимом Горьким. Годом позже о тех же беседах я слышал от Горького, который Соболя осуждал за его нелепость, истеричность и отсутствие твердых взглядов, но слов, ему Соболю сказанных, не опровергал. Вот эти слова в изложении самого Соболя:

— Алексей Максимович, когда я, так называемый советский писатель, с глупой и дурацкой кличкой "попутчик", а по заграничному — "бутербродник" — в лучшем смысле — и агент ГПУ — в худшем, в Москве попадаю в буржуазную компанию или в общество с антисоветским душком, — я защищаю горячо, до хрипоты и самые нелепые шаги партии, правительства, маленьких и больших самодуров, ибо органически не могу иначе, ибо меня тошнит от глупости и невежества этих господ, которые, отбарабанив положенное число в Совнархозах или театрах или комиссиях разных, гаденько плетут ветхозаветную прогнившую сеть, чтобы сладострастно накинуть ее в будущем, если повезет, на всю страну. А когда я попадаю к коммунистам или в близкую к коммунистам среду, я до изнеможения нападаю даже на толковые, дельные попытки коммунистов. И вот, Алексей Максимович, по этой бытовой иллюстрации поймите нас, московских писателей. Сейчас я пришел к вам, к писателю Горькому — и я вам должен, я обязан рассказать все. И я расскажу. Но если сейчас откроется дверь и войдет писатель Зинаида Гиппиус или поэт Бальмонт — я немедленно замолчу или горячо начну защищать даже... Демьяна Бедного. Вот я рассказал вам немало о наших порядках, вот привел я вам немало иллюстраций, от некоторых тянет тебя скорее к первому попавшемуся гвоздю, рассказал я вам, какими ухабами идет наша жизнь и как часто от этих ухабов ноют не только ноги, но и душе и сердцу больно. Но все же, но все же за все европейские блага я не отдам ни одного кусочка сегодняшней России, даже ни одного ухаба".

И он старается объяснить в письме:

"Это не отрывок квасного патриотизма, это не "кислые щи" советского производства, и это не русский наскок, сналету, снахрапу на "Европы", — мы, мол, ваши сумерки видим, нам, мол, из нашего окошечка светлого видать, какая ночь у вас, и мы, мол, шапками закидаем, — поверьте, мы видим, чему нам еще надо учиться и где и к каким источникам, будто уже похороненным, нам еще не раз и не два придется прильнуть, — мы тяжкими годами научились одному нелегкому делу: по настоящему любить Россию и понимать, что возврата к прежнему не должно быть, и что через все глупости (и подлости даже) советская Россия, да, советская, а не иная, выйдет на свою дорогу. И если этой дороге суждено быть украшенной деревьями для отдыха, то рядом там будут стоять деревья, посаженные руками и Ленина, и Желябова, и Троцкого, и Чернышевского, и Горького, и Толстого, и безымянных солдат декабрьского московского восстания и безвестных красноармейцев, бравших в стужу Перекоп".

* * *

Я перебираю письма Андрея Соболя, написанные на машинке или его мелким почерком тесно на больших листах бумаги — целую тетрадь исповеди в ответ на мои вопросы и упреки, — я делаю выписки и заранее знаю, с какой скептической улыбкой прочтут это люди положительные, не знающие "раздвоений" и содержащие картотеку своих убеждений в образцовом порядке. Им, вероятно, покажется странной и такая фраза Соболя про сынишку Шурку: "Шурочка со мной. Если бы Вы знали, какой это очаровательный мальчуган и как я его люблю. Значит, есть у меня кусочек живой души. Вот потеряй я Шурку — не перенести бы!" И еще им покажется странным, что строки Соболя, на которые в письмах к нему я яростно нападаю, теперь я привожу в защиту его чести и его искренности.

Трудно нам, зарубежным, вполне понять человека по ту сторону. Вот что говорит об этом Соболю: "Нынче пропасти роятся с быстротой молнии, нынче лучшие человеческие от-

ношения обращаются в грязные тряпки от самой маленькой пылинки. Непонимание существует не только между русскими из Парижа и русскими из Москвы, — мы у себя на Собачьей Площадке так часто друг друга не понимаем и так нередко друг друга бьем, правда, потом казня себя жестоко, но это уж от нашей милой самобытности".

Большинство писем Соболя помечены "Сорренто", где он вместо отдыха нервничал, много пил, пытался творить, кричал, что он пишет нечто гениальное и отлично знал, что написать он уже ничего не может.

Годом позже я провел в Сорренто несколько дней в той же комнате, где жил он. Из окна комнаты был такой волшебный вид на залив и окрестности, что даже я, привычный, чувствовал, что жить здесь невозможно, неприлично, преступно. Что должен был ощущать он, приехавший из Москвы, где он с семьей, как и все другие, ютился в забитой людьми и примусами душной и грязной квартире! Какая почва для расцвета "противоречий"! Я понимаю, почему он проклинал свою поездку. Когда-то, бежав с каторги, он нашел в Италии новую жизнь и новое свое писательское призвание. Теперь, предчувствуя конец, он хотел спасти себя тем же итальянским очарованием, — но было уже поздно. Было поздно, потому что запас жизненности кончился.

В письме с пути в Россию, намекая о том, что "скоро добежит, донесется невеселая весточка о Соболе", — он прибавил строчку:

"Я жег себя с двух концов. И вот кончается фитиль. Точка. Все в порядке".

ТОВАРИЩИ-ПРОВОКАТОРЫ

Большой неудачей своей жизни я считаю, что никогда не видал Льва Николаевича Толстого. Правда, я совсем маленьким должен был уехать за границу, где видел и слышал Жореса, а по моем возвращении Толстого уже не было в живых.

Совершенно равнодушно выслушаю упрек в том, что ни-

когда не видал на сцене Сары Бернар. Зато в Риме я пожал руку Бриану, который, осведомившись, в какой газете я пишу и узнав, что в "Русских ведомостях", приподнял брови и сказал: "О-о!" Он никогда в жизни не слышал ее названия, но готов был сделать мне удовольствие.

Но если что-нибудь меня радует, то это то, что я никогда не был знаком с Азефом, и только на фотографиях видел его поистине отвратительное лицо.

В итальянском местечке Сори, на берегу Средиземного моря, была вилла "Мария", которую сняли бежавшие из Финляндии русские эмигранты. За два года на ней перебивало человек сорок революционеров. Десяток жил постоянно, остальные приезжали по делам или отдохнуть. Здесь было издательство, статистический кабинет, место отдыха, центр деловых сношений, приют для бежавших из России. Иногда генуэзская газета "Лаворо" сообщала читателям, что виллу "Мария" посетил такой-то известный русский террорист, — сообщала с уважением и приязнью. Почтальоны приносили ежедневно тюки русских газет и книг, а письма доходили до нас с простым обозначением: "Такому-то, близ Генуи". Раз марка русская — тащили к нам. В старом доме, отвратительно обставленном, было одиннадцать комнат, да еще был флигелек, где в верхних двух комнатах ютились люди, а внизу было пустое ослиное стойло. В саду, спускавшемся террасами к морю, без ухода и забот зрели апельсины, лимоны, фиги, персики, вишни, груши, высились кипарисы, красовались заросли роз и лилий, а по морю лежала матовая дорожка от нас в Африку.

Некоторое время в малом домике проживали две девушки, очень молодые и восторженные, бежавшие из российских тюрем. Хорошо отдохнув и покупавшись в море, они решили, что пора вернуться к живой деятельности. Пошептавшись с неделю, они уехали в Париж представиться великому "Ивану Николаевичу", то есть Азефу, и предложить ему свои жизни для надобностей революции — для террора. Нас они об этом, конечно, не осведомили, — не полагалось, — но простились со всеми так, как прощаются навсегда.

Через неделю они вернулись подавленные и грустные. Еще

через неделю, не вынеся душевной тяжести, они покаялись в своей слабости и мерзости перед теми, кому особенно доверяли. Рассказали, что были у Азефа и что он принял их отлично, и удостоил разговора. Мало того, — он обещал им принять их в боевую организацию, на что они даже мало надеялись. И вот, когда мечты их осуществились, на них, по их слабости и малодушию, напал червь сомнения, которого они не могли себе простить, но бороться с которым оказались бессильными. Со слезами на глазах, браня себя за кощунство и за дерзость, они сказали, что "Иван Николаевич" так отвратителен по внешности, что они не могут побороть чувство недоверия и ужаса. Пусть товарищи покроют их презрением и выбросят из своей среды, они этого заслуживают, но никаких дел с ним они не могут иметь.

Эти бедные девушки очень страдали и считали себя потерянными и ни к чему негодными, потому что позволили себе усомниться в великом и святом человеке, которого природа почему-то наградила толстыми губами, животом и неприятным взглядом свинных глазок. Годом позже они могли бы убедиться, что их невольное отвращение только доказало их естественную чуткость, — но что случилось с этими девушками годом позже, я не знаю, так как они нас покинули, так и не решившись пойти в боевую организацию. Не удивлюсь, если они ушли в монастырь, замаливать свой смертный грех малодушия и кощунства.

Частым гостем нашей виллы был Всеволод Лебединцев, поэт, астроном и террорист, поборовший в себе чувство недоверия к тому же "великому" деятелю. Но, поборов его, он почувствовал свою близкую гибель. Он был арестован в Петербурге на улице под итальянским именем Кальвино. В другом месте я описал жизнь и смерть этого талантливого человека. С него написал Леонид Андреев неверный портрет Вернера в "Рассказе о семи повешенных".

После книги Николаевского об Азефе — вряд ли можно что-нибудь прибавить к характеристике этого героя нашего времени. Повторяю, я счастлив, что никогда не знал его лично.

* * *

Иное дело, когда человек приятен и симпатичен, — с ним с удовольствием проводишь время. Встречаемся в кафе, вместе обедаем в недорогой столовой "Скандинаво", на подъеме в богатую часть Рима. Не навязчив, политикой интересуется мало, лишь по прежней партийной привычке, проходит курс юридических наук в университете, со всеми знаком, со всеми хорош, одевается не без элегантности, что понятно, так как в России у него состоятельные родители. Иной раз и товарищу в нужде поможет. Немножко, пожалуй, беспринципен, слишком мягок и терпим, что революционеру не полагается. По каким-то делам часто ездит в Женеву, откуда привозит поклонны.

В дни войны и итальянского нейтралитета говорю ему:

— Поеду я в Россию, будь, что будет. Довольно с меня десяти лет эмигрантства.

— Но ведь вас сошлют в Нарым?

— Чем Нарым хуже Рима! А может быть, и не сошлют...

— Вы твердо решили?

— Твердо; уеду через месяц.

Он растроганно жмет руку:

— Ну, желаю вам всякой удачи! Поехал бы и я, да решил сначала окончить университет. Войны в наш век еще хватит...

На вокзале провожают друзья. Он приходит перед самым отходом поезда с букетом красной гвоздики. С другими за руку, — он обнимает и целует. Из окна уходящего поезда долго вижу его белый платок — прощальное приветствие. Близки не были, а славный человек.

Путь мой дальний, круговой, через Францию, Англию и северные нейтральные страны, с задержками, ожиданиями, разрешениями; не меньше месяца. Он мог бы и не торопиться посылать в Петербург телеграмму своему охранному начальству; но он был человеком деловым и аккуратным. После революции я читал его краткие и вполне литературные сообщения о римских, женевских и парижских друзьях. Материал средней ценности, лениво собранный. Обо мне довольно снисходительно.

Его имя найдено в списках заграничных "секретных сотрудников"; он неплохо зарабатывал. Он окончил курс, принят в итальянском обществе, принят и в обществе русском второй эмиграции, хотя его прошлая деятельность опубликована. Любезный человек, адвокат, хорошо одевается, — мало ли у кого что было в прошлом!

Букет красной гвоздики доехал со мной свежим до самого Парижа; было жалко выбрасывать — последний привет товарища!

* * *

В дни февральской революции я поддался любопытству и принял на себя разборку и отправку в музей документов московского Охранного отделения. Вероятно, я доверчивее бы относился к людям, если бы не загубил трех месяцев на эту работу.

Когда я наконец ее бросил, — отвращение подступило к горлу, — ко мне не сразу перестали заходить странного вида люди. Робкий звонок, и на пороге кабинета фигура с заложенными за спину руками. Это, — чтобы я не подал случайно руки, а потом не стал бы вытирать руку платком. Сразу угадываю: товарищ-provokator.

— Чем могу служить?

— Я такой-то. Вам, может быть, знакома моя фамилия?

— Знакома.

— Она была опубликована в списках предателей. Я пришел вам сказать, что это — трагическая ошибка, так как я никогда не служил в полиции. Вероятно, мой адрес нашли у какого-нибудь жандарма и вывели такое заключение...

Объясняя, что я не следователь, а только занимался в архиве. Но могу точнее образом рассказать его карьеру: тогда-то был принят секретным сотрудником, такому-то делал доклады, таких-то оговорил, столько-то получал в месяц, такую-то носил охранную кличку. Довольно?

Он долго сидит молча, потом глухим голосом рассказывает, что теперь он — офицер, что вынужден скрываться от всех, даже от жены, и что не знает, что ему делать.

— Если вы — офицер, то должны бы знать.

— У меня мать, жена и дети.

— Тогда зачем же вы меня спрашиваете? Сами и решайте.

Рассказывает повесть о своем падении — штампованную, обычную, до мелочей известную мне по рассказам других. Знаю даже то, чего он не договаривает. Верю и искренности слез, — не слез раскаяния, а слез страха. Говорю ему:

— Вы мне напрасно рассказываете, я тут не при чем, и я вам не судья. И ничего посоветовать не могу.

Уходит, пятясь спиной, точно опасаясь, что я его догоню и ударю.

Еще приходили отцы и жены — узнать, правда ли, что их близкие попали или попадут в списки. Но подобных сцен рассказывать невозможно.

И только один раз ко мне явилась женщина, молодая, красивая и отлично одетая, также из "опубликованных", которая держала себя совсем иначе. Назвав свою фамилию и прибавив, что она "та самая", она мне заявила, что считает себя оскорбленной:

— Обо мне было написано, что я была "незначительным осведомителем". Это неверно! Я оказывала очень большие услуги и делала это не для Охранки, до которой мне не было никакого дела, а для человека, которого я очень любила и люблю. Но, разумеется, я делала это по убеждению, потому что разделяла и разделяю его взгляды. Во всяком случае, я была не пешкой, а настоящим и крупным агентом.

Для чего вы это мне говорите?

— Для того, чтобы мои слова были проверены по документам, которые вы разбираете. Я не желаю, чтобы обо мне писали в пренебрежительном тоне! И это несправедливо! Вы можете спросить обо мне Мартынова (начальник Охранки), и он подтвердит.

Должен сказать, что это был единственный "товарищ-provokator", к которому я почувствовал некоторое уважение. Правда, она ничем не рисковала, кроме "общественного порицания", но зато не проливала и крокодиловых слез. Я забыл ее фамилию, как постарался забыть все остальные. Го-

дом позже подобная откровенность обошлась бы ей дорого, разве что она, по любви или по убеждению, вернулась к своей профессии, лишь переменяв Гнездиковский переулок на Лубянку.

Что часть профессионалов вернулась к деятельности, — сомнению не подлежит. Специалисты всегда нужны, а "в большом хозяйстве пригодится всякая дрянь". Мне рассказывали, как при одном обыске болтливый чекист заявил:

— Кого другого, а меня не проведете! Тут обязательно должен быть в стене тайный шкаф! Меня глаз не обманет, я этим делом двадцатый год занимаюсь!

Товарищ его одернул:

— А ты хоть на людях язык-то держал бы!

Конечно, это — маленький чин сыскного дела; но где устраиваются маленькие, там и большим найдется место, и даже с легкостью и почетом.

И как-то невольно думается: не поторопился ли Азеф умереть? Может быть, могла бы продлиться и дальше карьера великого "товарища-provокатора"?

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУКШЕФЕРД
СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА. АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА, РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА И СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫШЛА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Цена книги — 15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу: Time and We
475 Fifth ave, room 511 - A
New York, New York, 10017



ЭТИ ПРЕКРАСНЫЕ НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ВЕДЬМЫ

Изображая нью-йоркских, обольстительниц, Шимон Окштейн следует по стопам своих выдающихся предшественников, таких, как Ричард Линднер и Том Вассельман. Становится явным, что реальные факты заменены фантазиями художника, и для меня это уже значит многое. По сути дела я имею в виду чисто женское умение совершенствовать способы обольщения, известные с давних времен, и искусно использовать их в этом гигантском и уж, по крайней мере, самом престижном городе мира.

Безусловно, этот феномен представляет собой очень интересный объект для исследования. Да и художнику не следует уподобляться социологу или журналисту. Выступав в подобной роли, он отбирал бы хлеб насущный у этих людей. К тому же, это свело бы его творческое зрение к взгляду простого очевидца.

Настоящий художник обладает тем несравненным даром, что даже, когда его внимание привлечено к чему-то обыденному, он превращает это в миф, и невидимые тени богов и демонов преследуют образы, взятые из повседневной жизни. Ранее я упоминал Линднера: не он ли увековечил спаренные фигуры проститутки, затянутой в корсет, как кирасир, и сутенера в роскошном галстуке — и все это с видом не менее важным и уверенным в себе, чем Афина и Зевс Фидия? Что касается Вассельмана, то нет никакого сомнения, что он воздвиг вечный монумент Богоматери нашего столетия, по своему величию не уступающий изображению Христа в византийских церквях.

Ну что же нам предлагает Шимон Окштейн?

С первого взгляда совершенно очевидно, что он очарован темой, а не просто изображает привлекающие его субъекты. Для некоторых мужчин женщины — это нескончаемый спектакль. Шимон Окштейн — один из них. И когда женщины умудряются разными способами усилить степень обольщения, они рано или поздно привлекают внимание мужчины, который наблюдает за ними, тем более если этот мужчина еще и Художник! Да и как художник, заслуживающий называться художником, может не замечать женщин? Кто как не они владеют искусством приковывать взгляды, искусно используя формы и цвет.

Итак, Шимон Окштейн смотрит на женщин. Он смотрит на этих женщин не просто как на мастериц умело вести себя (о чем в последние годы много написано) или раскрашивать свои лица, а как на чудовищные создания, которые на сексуальном аттракционе играют комедию потерянных душ как своих собственных, так и тех неудачливых мужчин и женщин, которые попадают в их сети. И, кстати, просто ли играют они эту комедию или являются ее первыми жертвами?

Независимо от того, надевают ли они маску или нет, являются ли они первыми жертвами собственного маскарада или нет — те, кого художник изображает, имеют одно общее: их костюмы снабжены множеством причудливых атрибутов для обольщения. И эти доспехи они носят подобно тому, как средневековые рыцари носили свое оружие. И так же, как под металлом рыцарского панциря не осталось ничего живого, так и в этих женщинах нет ничего естественного. Из-за отсутствия другого оружия они вызывающе размахивают длинной сигаретой, с которой мистически не спадает пепел.

Вассельман подметил, что многие обольстительницы были заядлыми курильщицами, как будто, сжигая табак, они пытались установить некую связь то ли с тлеющим костром, на котором сжигали ведьм, то ли с адом. Также очевидно, что длинные белые цилиндрические формы, которые они держат между пальцами или губами, являют собой подобие фаллоса, который они жаждут, которому они угрожают наказанием и бросают вызов.

Однако, обращаясь к житейской или даже символической правде работ Шимона Окштейна невозможно выразить словами то леденящее умение, с которым художник изображает красоту этих современных Сирен; умение, превышающее искусство Линднера и Вассельмана в своей холодной точности изображения, что пятьдесят лет тому назад было очень характерным для таких немецких художников, как Отто Дике, Радершейд и Кристиан Шад.

Такое сравнение далеко не упрек с моей стороны. Художников Веймарской республики тоже окружал глубоко аморальный мир, который некоторые из них старались пригвоздить неумолимой точностью стиля. Кстати, они добились большего: как и Шимон Окштейн сегодня, они высветили для нас глубины человеческой души.

Париж, 1985 г.

Жозе Пьер

Перевод Татьяны Драновой
Публикуется с некоторыми сокращениями



Девочки с обложки журнала



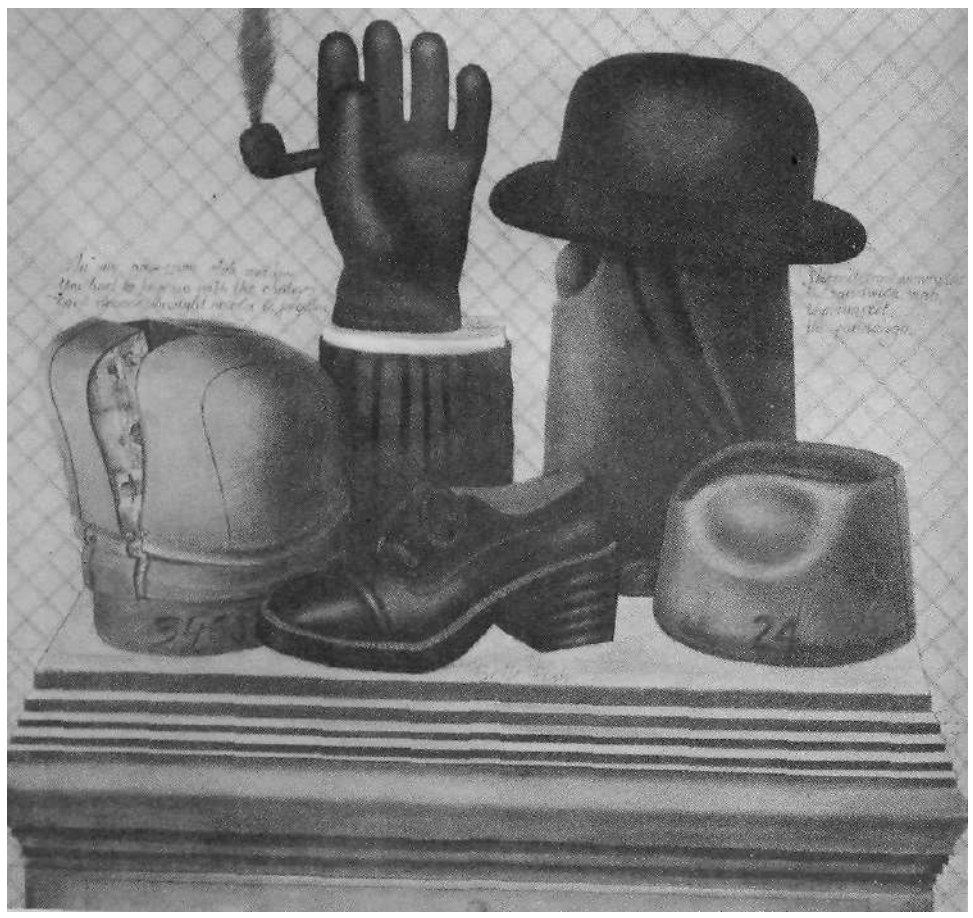
Партнеры



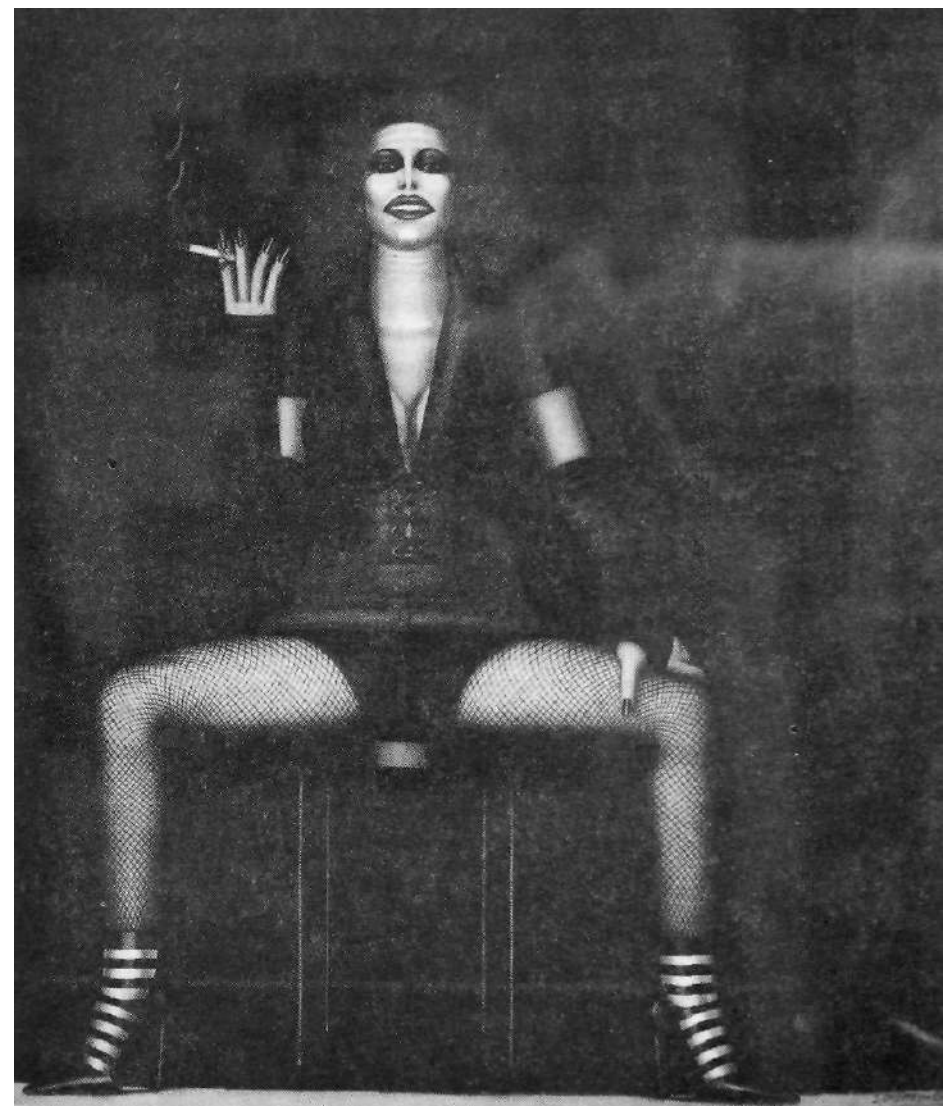
Зазывающая



Сюзан



Память



Удовлетворение

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЗИНОВИЙ ЗИНИК — родился в 1945 г. в Москве. Изучал живопись, топологию, фехтование и театр. Образование получил в литературном кружке А.Асаркана, П.Улитина и Ю.Айхенвальда.

В 1975 г. эмигрировал. В течение двух лет был режиссером русско-го театра-студии при Иерусалимском университете. Сейчас живет в Лондоне и зарабатывает на жизнь театральными рецензиями; пишет по-английски для лондонского еженедельника "Time Literary Supplement".

Автор повестей и романов: "Извещение" ("Время и мы", № 8), "Перемещенное лицо" ("Время и мы", № 21-22, вышла в изд-ве "Руссика" отдельной книгой), "Уклонение от повинности" ("Время и мы", № 69), "Русская служба", изд-во "Синтаксис" 1983), "Ниша в Пантоне" (1979; французский перевод готовится в изд-ве "Альбен Мишель"). Постоянно выступает со статьями в русскоязычных журналах ("Страна и мир", "Синтаксис" и др.).

ФЕЛИКС РОЗИНЕР — родился в Москве в 1936 году. Окончил Полиграфический институт, учился в консерватории, был на инженерной работе. В начале 60-х годов выступает в печати как поэт. С 1967 года — профессиональный литератор. В 70-х годах выпускает шесть книг, в том числе беллетризованные биографии Грига, Прокофьева, Чюрлениса. В 1978 г. — эмигрировал в Израиль. На Западе публикуется в русскоязычных журналах. Автор широко известного романа "Некто Финкельмайер", удостоенного литературной премии им. В.Даля.

ИРИНА ГРИВНИНА — живет в Москве, участница правозащитного движения. Рукопись получена по каналам самиздата и публикуется без разрешения автора.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ — родился в 1942 г. Литературный критик. Кандидат искусствоведения. В прошлом — член Союза писателей и член Всероссийского театрального общества. Выступал на страницах журналов "Новый мир", "Юность", "Вопросы литературы". В 1977 г. Соловьев и его жена Елена Клепикова эмигрировали в США. На Западе в американских издательствах по-английски вышло несколько книг Соловьева, написанных совместно с Е.Клепиковой.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА — родилась в 1942 г. Литературный критик. В течение ряда лет сотрудничала в советских газетах и журналах. В 1977 г. вместе со своим мужем В.Соловьевым эмигрировала в США. На Западе в американских издательствах по-английски вышло несколько книг Е.Клепиковой, написанных совместно с В.Соловьевым.

СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ — родился в 1905 г. в Elizavetgradе. Учился в Одесском институте народного хозяйства. Был участником молодежного сионистского движения и эмигрировал в Палестину в 1928 г. После второй мировой войны был секретарем Общества дружбы "Израиль—СССР", из которого вышел в 1956 г. в знак протеста против угроз советского правительства в адрес Израиля. Журналист, политический комментатор. Постоянно выступает в израильской прессе.

СЕРАФИМ МИЛОРАДОВИЧ — родился в 1929 г. в Париже. Среднее образование получил в парижской русской гимназии и во французском лицее. Окончил Колумбийский университет и университет в Женеве. Многие годы работал на радиостанции "Свобода". Некоторое время был редактором еженедельника "Русская мысль" (Париж). Но в основном с 1971 г. занимается книжным делом и авторскими правами. С 1982 г. после смерти А.Стыпулковского — директор ОРІ.

МИХАИЛ ОСОРГИН (Ильин; 1878-1942) — выпускник юридического факультета Петербургского университета. Адвокатская практика Осоргина была прервана в 1905 г. За участие в революционном движении он был арестован, но выпущен под залог. Воспользовавшись этим, Осоргин бежал за границу. С 1909 г. он становится римским корреспондентом либеральных русских газет. Вернувшись в Москву, приветствовал Февральскую революцию. В 1919 г. был арестован, а в 1922 г. — выслан за границу. Сначала в Берлине, а затем в Париже Осоргин сотрудничал с русскими газетами и как журналист, и как редактор. Он автор 15-ти книг. Среди них романы, повести, рассказы и очерки.

ЖОЗЕ ПЬЕР — французский писатель и критик. Специалист по искусству XX века. Совместно с Андре Бретоном он был организатором Международных выставок сюрреализма в 1959 и 1965 гг.



ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

Аркадий ШЕВЧЕНКО
"РАЗРЫВ С МОСКВОЙ"

Авторизованный перевод

Объем — 528 стр. Цена — 19 долларов, включая пересылку

АРКАДИЙ ШЕВЧЕНКО — БЫВШИЙ СОВЕТСКИЙ ДИПЛОМАТ ВЫСШЕГО РАНГА, ПОРВАВШИЙ ОТНОШЕНИЯ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ В 1978 ГОДУ.

С 1956 года Шевченко был сотрудником Министерства иностранных дел. В книге ярко обрисована закулисная реальность работы в этом министерстве.

В 1959 году Шевченко сопровождал Хрущева в его поездке в Америку. Описание этой поездки, а также характера Хрущева — принадлежат к одним из лучших страниц книги.

В период с 1970 по 1973 год Шевченко был советником министра иностранных дел А.Громыко. Рассказывая об этом периоде своей жизни, автор подробно анализирует цели советского детанта, отношения с Китаем, вопросы разоружения, работу Политбюро и закулисные отношения между его членами.

С апреля 1973 года Шевченко — заместитель Генерального секретаря ООН. Эта часть книги посвящена рассказу о том, как эксплуатирует СССР своих работников в ООН и таким образом финансирует деятельность КГБ в США. Кроме того, в книге даны портреты многих политических деятелей, созданные автором по личным впечатлениям, — это и Хрущев, и Громыко, и Пономарев, и Андропов, и Горбачев и многие другие.

Читатель, обратившийся к книге Шевченко, получит уникальную возможность узнать, как формируется внешняя политика СССР, от человека, принимавшего в ней непосредственное участие и рассказавшего о ней откровенно и искренне.

Заказы и чеки направляйте на имя издательства:

LIBERTY PUBLISHING HOUSE

475 Fifth ave, suite 511-A. New York, New York, 10017

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

Александр Орлов
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книге Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА. БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов. Пересылка - 1 доллар.

Заказы и чеки высылать по адресу:

Time and We

475 Fifth ave, room 511 —A

New York, New York 10017

ВОТЧИНА ПРИЗРАКА

Авторы: Максим Вар и Борис Вар

98 стр; тираж ограничен

Наверное, каждый, кто жил в Советском Союзе, задавался вопросом: "Что побудило русских людей стать первыми в мире... советскими людьми и почему они заставили стать советскими всех своих соседей?"

Авторы этой небольшой, но глубоко содержательной книги доказывают, что

Октябрьский переворот и феномен Ленина-Сталина были для России неизбежны.

Строго научно, однако увлекательно и живо авторы рассматривают исторические,

психологические, социологические причины возникновения советской власти в России.

Книга рассчитана на узкого читателя с широким кругозором. Кроме того она может оказаться интересной и специалистам-историкам, социологам, демографам, советологам и многим другим.

Цена книги — 8 долларов, включая пересылку

Однако первые 50 покупателей получают скидку 50 процентов и платят только 3.99

Книгу можно заказать, воспользовавшись услугами магазинов "Лукоморье" и "Черное море"

АРДИС

Владимир Паперный. КУЛЬТУРА „ДВА“. Советская архитектура 1932 — 1954 гг. 338 стр. Большой формат. Много иллюстраций. 19.50.

Эта книга об архитектуре и других видах искусства, об истории и экономике, об образе жизни и типах социальной организации; о закономерных циклических процессах, первичных по отношению к усилиям отдельных архитекторов, критиков, чиновников и вождей.

Автор развивает гипотезу о наличии двух враждебных друг другу культурных механизмов, поочередно преобладающих в советской культуре, условно названных им культура 1 и культура 2.

„В общем потоке научной и документальной литературы третьей эмиграции книга Владимира Паперного занимает особое место. Сочетая в себе черты глубокого научного исследования и блестящего сатирического памфлета, она удовлетворит читателей с высокими интеллектуальными запросами и не оставит равнодушными ценителей яркого, образного, лаконичного стиля“.

— Сергей Довлатов

Мартин Круз Смит. ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО. 393 стр. 10.00.

Международный бестселлер — в основе материалы многочисленных интервью с эмигрантами из России.

Семен Липкин. КОЧЕВОЙ ОГОНЬ. Стихотворения и поэмы. 167 стр. 6.00.

„Анна Ахматова называла имя Липкина среди наиболее значительных наших поэтов каждый раз, когда речь заходила о советской поэзии“.

— Л. Чуковская, ЗАПИСКИ ОБ АХМАТОВОЙ

Книги „Ардиса“ можно приобрести во всех русских книжных магазинах или непосредственно у ARDIS PUBLISHERS, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104 USA.

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:
ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона — автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует широкую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ — И В СССР, И, В ОСОБЕННОСТИ, ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ,

КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ,

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ.

Книга написана в форме захватывающего детектива. В то же время она является важнейшим обличающим документом нашего века.

Объем книги — 432 страницы. Цена — 22 доллара.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, suite 511-A
New York, New York
10017

Григорий СВИРСКИЙ
ПРОРЫВ

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э.Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, которых судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные, человеческие драмы, через судьбы героев.

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки высылайте по адресу:

Hermitage Publishers of New Russian Books
2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

«ФОРУМ» N 11

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИИ

- Смена поколений. Изменится ли политический курс?
- Интервью по личным вопросам.
- *Владимир Малинкович*. Не по былинам сего времени, а по замыслению Бояню. (*Историческая концепция А. Солженицына*).

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

- *Сергей Максудов*. История с географией. (*Границы советской империи*).

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ СЕГОДНЯ

- *Гунарс Астра*. Давно уж вода в колодцах правды горчит...
- *Эрнст Орловский*. О выступлении Валерия Репина по телевидению.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- США и права нерусских народов СССР (*Интервью с Эллиотом Эйбрамсом*).
- *Александр Беннигсен*. Иглам в СССР после вторжения в Афганистан.
- *Евген Крамар*. Цыгане.

ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ, ЭТИКА

- *Рудольф Штейнер*. Рождество. Размышление из жизненной мудрости * Общие требования для всех вступающих на путь оккультного развития.

ИСТОРИЯ

- *Омельян Прицак*. «Повесть временных лет» и историческая правда.
- *Лев Троцкий — Николай Бухарин*. Дискуссия о результатах НЭПа в сельском хозяйстве.

КУЛЬТУРА И ВРЕМЯ

- *Раиса Орлова*. Дыра в брезентовой трубе.
- *Вилен Барский*. О Параджанове и о его фильмах.

Стоимость подписки на год (4 номера) — 50 н.м. Заказы и чеки посылать по адресу: Ukrainische Gesellschaft für Auslandsstudien e. V. Müllerstr. 33, Rgb. 8000 München 5. BRD
Спрашивайте журнал и в магазинах русской книги.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК"

в ближайшее время выходят книги:

Владислав ХОДАСЕВИЧ. КОЛЕБЛЕМЫ ТРЕНОЖНИК

Статьи о литературе. Избранная проза, том 2.

(260 стр. Цена — 17.50)

Во второй том избранной прозы В.Ходасевича вошли статьи о писателях и поэтах — современниках автора: Н.Гумилеве, В.Сирине (Набокове), Б.Поплавском, И.Бунине, Д.Мережковском, А.Блоке, А.Белом, В.Маяковском и др. В книге также помещен обширный комментарий к статьям и указатель имен на оба тома.

Первый том Избранной прозы В.Ходасевича "БЕЛЫЙ КОРИДОР. ВОСПОМИНАНИЯ", который является продолжением известной книги Ходасевича "Некрополь", можно приобрести в издательстве "Серебряный век" или по адресу редакции "Время и мы". В книге 310 стр. Цена — 17.50.

Георгий АДАМОВИЧ. СОМНЕНИЯ И НАДЕЖДЫ

Статьи о литературе. Избранная проза, том 1.

(260 стр., цена 17.50)

Как и В.Ходасевич, Г.Адамович был одним из крупнейших литературных критиков первой эмиграции. Круг писателей, творчество которых интересует Адамовича, примерно тот же, что и у Ходасевича. Но их точки зрения далеко не всегда совпадают. Оба писателя — и Ходасевич и Адамович были своего рода центрами культуры, вокруг которых сосредоточивались литературные силы эмиграции

Второй том Избранной прозы Г.Адамовича

РАЗМЫШЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

готовится к печати.

Адрес издательства: SILVER AGE PUBLISHING

P.O.Box 384 Rego Park New York, 11374

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1985

УСТАНОВЛЕННЫЕСЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 54 доллара; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

Time and We

475 Fifth Ave, suite 511-a. New York, New York 10017

Цена в розничной продаже — 8.50

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 450 франков; для библиотек — 550; с целью экономической поддержки журнала 550 франков;

— в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 180; с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 1985

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /**Time and We**/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу "**Time and We**"

**475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK.
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014**

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

**MAIN OFFICE:
475 Fifth Ave, suite 511 a, New York, N.Y. 10017
Телефон: (212) 684-30-14**

OCR и вычитка — Давид Титиевский, апрель 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки:
Симон Окштейн "Бизнесмен"**

Иллюстрации "Вернисажа" взяты из каталога выставки Шимона Окштейна, выпущенного Галереей Эдуарда Нахамкина

